ЧИСТЕЛЬЩИК

роман



Веспера Холлоуэй

Веспера Холлоуэй

Чистельщик

«Автор»
2026

Холлоуэй В.

Чистельщик / В. Холлоуэй — «Автор», 2026

Линь Цзинлэй двадцать один год. Для города она — тихий эксперт городского управления. Для клана Хэйфан она — чистильщик: хирург, который приезжает туда, куда не вызывают полицию, и убирает то, что нельзя оставлять.Шанхай, 2020–2021. Трое пропавших перевозчиков, чужой счёт в Макао, клан Чжао, фирма «Хо и партнёры» — и слепой аналитик Го Сюань, который слышит город лучше, чем иные видят. По её следу идёт упрямый опер Дэн Ган. Её берегут мать и отец, старик у вокзала и дядя на юге; её люди — Лихэ и Сяо Мэй — учатся у неё главному: чистота — это не про кровь, а про память.Она пишет в серую тетрадь на латыни, пьёт кофе только со свежим листом мяты и почти никогда не ошибается в людях. Город держится на таких, как она, — пока она сама не решит, что пора перевернуть последнюю страницу.Криминальный роман о долге, семье и цене имени.

© Холлоуэй В., 2026
© Автор, 2026

Чистельщик

Содержание

Глава 1. Три часа ночи
Глава 2. Три адреса
Глава 3. Тридцать персон
Глава 4. Три пустые ночи
Глава 5. Четвёртый стул
Глава 6. Место сто четырнадцать
Глава 7. Крыша
Глава 8. Уборка зала
Глава 9. Третья почка
Глава 10. Вода возвращается в воду
Глава 11. Третий узел
Глава 12. Два берега
Глава 13. Вторые счета
Глава 14. Три приказа
Глава 15. Вся карта
Глава 16. Срок
Глава 17. Порт
Глава 18. Выбор
Глава 19. Писатели
Глава 20. Имя

Глава 1. Три часа ночи



Линь Цзинлэй

Июньская ночь над Шанхаем стояла густая и тёплая, как остывший чёрный кофе. К трём часам центр города делал вид, что спит: на Нанкинской улице догорали последние вывески, такси ползли по пустым мостовым, не спеша, будто им некуда было торопиться, и только над набережной ещё мигал красный глаз аэрофары. Но у города, как у всякого большого организма, имелась вторая система кровообращения — та, что просыпалась ровно тогда, когда засыпала первая. По объездным трассам к докам тянулись грузовики без номеров. В подпольных клиниках без вывесок зашивали тех, кого нельзя было показывать обычным врачам. На столах, которых не существовало ни в одном реестре, меняли карты, и ставками в этих партиях были человеческие жизни — по несколько штук за раз, мелким купюрами.

Склад на северной окраине, за промышленной зоной Баошань, изнутри напоминал чрево затонувшего корабля. Высокие стеллажи уходили в темноту, куда не доставал свет единственной лампы, подвешенной на проводе посреди зала. Лампа качалась от сквозняка, и круг света на бетонном полу ползал туда-сюда, то освещая деревянный стул в центре, то оставляя его на границе тьмы. Под стеллажами стояли люди — семеро, может, восемь; в темноте их трудно было сосчитать, и никто из них не стремился быть сосчитанным. Они не разговаривали. Один курил у самой стены, но затушил сигарету о подошву, как только вспомнил, где находится и кто в этом зале терпеть не может запах табака.



Склад в Баошане. Три часа ночи

К складу на окраине Баошаня её привозили последней. Таков был порядок, не записанный нигде, но соблюдаемый строже устава: объект доставляли первым, силовики занимали места вдоль стен вторыми, Ма Тэн приходил третьим — и только когда в зале застывало всё, что должно было застыть, за ней подавали машину. Порядок придумала не она. Его придумали те, кто ждал, — потому что ждать её заранее было спокойнее, чем встретить внезапно.

За час до полуночи в зале пахло пылью, машинным маслом и давешним дождём, который тащился сюда на подошвах. Двое у дальнего стеллажа разговаривали вполголоса — новенький, Хао Дун, переведённый на охрану объектов только в этом месяце, и дядюшка Бао, человек

клана с тридцатилетним стажем, седой, с обручальным кольцом на толстом пальце и привычкой говорить тихо.

— А она правда приедет? Сама? — спросил Хао Дун. — Мне сказали, по таким делам она не выезжает. Что она только в клинике сидит.

— По каким «таким»? — не понял дядюшка Бао.

— Ну… по мелким. Перевозчик. Не человек же большой.

Дядюшка Бао посмотрел на него долгим взглядом человека, решающего, стоит ли тратить на новичка остатки доброты.

— Запомни, мелкий, — сказал он наконец. — Для неё мелких дел не бывает. Бывают дела, которые она делает сама, и дела, которые она делает через других. Сегодня — первое, потому что предатель был нашим. Клановским. Двенадцать лет. — Он помолчал. — И ещё запомни. Когда войдёт — в глаза ей не смотри. Не потому что нельзя. Потому что потом плохо спишь. Я сам проверял.

— А что, она… — Хао Дун понизил голос ещё на тон. — Правда, что она того курьера в прошлом году… сама? Без наркоза обратно зашила?

— Я не знаю, что было с курьером, — отрезал дядюшка Бао. — И ты не знаешь. И тот, кто тебе рассказал, тоже не знает. Знают двое: она и курьер. И заметь — курьер до сих пор работает. На складской проверке, у восточных ворот, третий месяц не отлучается даже домой без спроса. Вот тебе вся правда, какая тебе положена. — Он отвернулся к темноте зала. — Жди. И молчи, когда приедет.

Хао Дун ждал. Молчание в зале было привычным, рабочим, но с каждой минутой оно густело — так густеет воздух перед грозой, когда ещё ни одной тучи нет, а птицы уже замолчали.

Она приехала за полчаса до полуночи. Машина въехала прямо в зал — ворота открылись без скрипа, петли были смазаны накануне, как и положено на таких объектах, — и остановилась у стеллажей. Цзинлэй вышла первой. По залу прошло короткое, почти неслышное движение: люди, которые до этого стояли как придётся, выпрямились. Кто-то убрал руки из карманов. Кто-то отлепился от стены. Никто не вышел вперёд — выходить не требовалось, требовалось только стоять ровно и не мешать.

Ма Тэн подошёл и доложил негромко: объект доставлен в десять, сопротивления не оказал, при задержании не пострадал, лишнего не видел. Он говорил, глядя ей не в глаза, а чуть ниже — на переносицу, на подбородок, куда угодно, лишь бы не в глаза. Он работал с ней два года и научился этому фокусу первым.

— Сколько он уже связан? — спросила она.

— Два часа.

— Тогда начнём с пальцев левой. Правую берегите — он правша, и мне ещё нужно, чтобы он мог держать ручку, если решит писать.

Она прошла через зал к складному креслу, что стояло напротив стула, — кресло поставили заранее, под неё, никто не спрашивал, почему ей нельзя допрашивать стоя. Пиджак мерно похлопывал её по щиколоткам. Меч в левой руке лежал горизонтально, за середину ножен. Она села, закинула ногу на ногу, положила меч на колени — и только тогда посмотрела на пленника в упор, впервые за вечер.

На деревянном стуле в центре сидел мужчина лет под тридцать. Руки его были заведены за спинку и стянуты верёвкой так, что плечи вывернуло назад; верёвка врезалась в запястья, и на коже уже проступили мокрые тёмные полосы. Левая губа разбита, один глаз заплыл и смотреть почти не мог. Второй глаз работал за двоих — метался по залу, цеплялся за лица людей вдоль стен, за неподвижную фигуру Ма Тэна рядом, и всякий раз возвращался к креслу напротив. К ней.

— Я всё скажу, — голос у него садился, слова вываливались кусками. — Я всё уже сказал, зачем вы… я правда всё сказал. Пожалуйста. Пожалуйста, я больше никогда, я уеду, я сегодня же уеду из города, из страны, вы меня больше не увидите, вы меня никогда…

Напротив него, в низком складном кресле, сидела девушка. Нога закинута на ногу, локоть на подлокотнике, подбородок почти касается сложенных пальцев. На ней был длинный чёрный пиджак, скроенный как плащ, — тяжёлая ткань спадала с плеч до самого пола, и по борту и по широким рукавам шла вышивка: алые драконы и алые волны, проступавшие из чёрного только там, куда добирался свет лампы. Под пиджаком — рубашка из тёмно-красного шёлка, застёгнутая до верхней пуговицы; на поясе, широком, кожаном, с двойной пряжкой, болталась тонкая цепочка с красной кистью. Черные брюки были заправлены в шнурованные бордовые ботильоны на высоком каблуке — обувь, в которой по такому полу полагалось бы шлёпать осторожно, но она прошла по нему час назад ровно и негромко, и никто в зале не услышал ни одного лишнего звука.

На коленях у неё лежал меч. Длинный, плоский, в лаковых чёрных ножнах с тёмной оплёткой рукояти. Одна её рука покоилась на ножнах — не сжимая, просто лежала, как лежат на подлокотнике кресла в чужом кабинете.

Она смотрела на связанного мужчину, и во взгляде этом не было ни злости, ни интереса — ровное, гладкое безразличие, отполированное, как лак на ножнах. На губах держалась полуулыбка — вежливая, чуть виноватая, какая бывает у администратора дорогого отеля, когда он сообщает вам, что вашего номера, к сожалению, нет. Гао Фэй видел эту улыбку уже третий час, и от неё ему было хуже, чем от кулаков Ма Тэна. Кулаки были хотя бы честными.

— Гао Фэй, — произнесла она. Тихо, без нажима, и зал слушал. — Мы с тобой уже третий круг проходим. Маршруты. Даты. Имя. Мне надоело слушать, тебе больно, Ма Тэну скучно. — Она чуть повела плечом. — Давай закончим красиво.

— Я сказал имя! — выкрикнул он. — Цапля! Его зовут Цапля, я же сказал! Из клана Чжао, я с ним три раза встречался, чайная на Юньнаньской дороге, там, где…

— Где рядовой состав не ходит, — закончила за него девушка и кивнула Ма Тэну. — Продолжай.

Ма Тэн подошёл сбоку, без спешки. Он был широк в плечах и коротко стрижен, с толстой золотой цепью на шее, и двигался с той экономностью, какая бывает у людей, давно переставших торопиться. Он не бил с размаха. Он бил коротко, в корпус, под дых, и каждый удар звучал глухо, как мешок с песком, брошенный на пол. Гао Фэй складывался, насколько позволяла верёвка, кашлял, снова выпрямлялся — и снова начинал говорить.

Он говорил о деньгах. О счёте в Макао, открытом на подставное имя, — назвал банк, назвал сумму, назвал отчество на паспорте. Говорил о трёх ночных конвоях, чьи маршруты он продал, — по трассе через Цзядин, по набережной, по старой дороге вдоль канала. Говорил, что конвой с фармой он продал не Цапле, а напрямую, за двойную цену, человеку, чьего имени не знает, — тут Ма Тэн опустил кулак ещё раз, и оказалось, что имя он всё-таки знает. Записывал никто не записывал. Люди вдоль стен просто слушали, и в этом было своё, старое, клановое: всё важное здесь хранили в головах.

Во втором часу она велела Ма Тэну остановиться.

— Воды ему, — сказала она.

По залу прошло короткое удивление — не звук даже, а качание теней. Ма Тэн принёс бутылку, открутил крышку и поднёс к губам связанного, и Гао Фэй пил жадно, давясь, размазывая по подбородку воду вместе с кровью, и всхлипывал между глотками — уже не от боли. От воды. Люди, которые видят в таких залах воду, понимают, что допрос закончился и начинается другое, и Гао Фэй тоже это понял, потому что заплакал по-настоящему, без попыток говорить.

Она дала ему напиться и поплакать. Она вообще была щедра на такие паузы: они ничего не стоили, а работали лучше, чем кулаки. Кулаки выбивали слова. Пауза показывала человеку,

что слова больше ничего не меняют, — и тогда, опустошённый, он говорил чистое, без попыток торговаться. Проверено на десятках. Дядюшка Бао у стеллажа, наблюдавший это, покачал головой с уважением старого служаки: он видел много дознавателей, но вода вместо кнута была ему ещё со времён старого главы незнакома. Её это выдумала сама внучка. Или кто-то ей подсказал. Или — дядюшка Бао отогнал эту мысль, потому что додумывать за внучку было делом нездоровым.

— Продолжай, — сказала она Ма Тэну, когда бутылка опустела. И продолжилось.

Девушка слушала тоже. Она не перебивала, не уточняла, не задавала вопросов — Ма Тэн задал их все ещё до неё, по списку, который она продиктовала ему в машине по дороге сюда. Она только смотрела. Время от времени лампа над залом качалась, круг света уползал в сторону, и тогда на секунду пропадало лицо связанного — оставались только её глаза в полумраке и тонкая алая линия вышивки на борте пиджака.

Лишь дважды за всю ночь она задала вопросы сама.

Первый раз — когда Гао Фэй, перечисляя конвои, запнулся на дате и попытался перевести её на сутки позже. Она не встала, не повысила голоса; она только сказала:

— Шестнадцатого.

Гао Фэй замолчал.

— Конвой вышел шестнадцатого, а не семнадцатого, — продолжила она всё тем же ровным тоном. — Ты сдал его Цапле пятнадцатого вечером. Через два часа после того, как узнал маршрут. У тебя в кармане остался чек из автозаправки на трассе — ты купил там кофе и пачку жвачки в двадцать три ноль четыре. Наши люди взяли чек в урне вчера. — Она наклонила голову набок. — Я спрашиваю не потому, что не знаю. Я спрашиваю, чтобы посмотреть, как ты врёшь. Продолжай.

И Гао Фэй продолжил — уже без попыток двигать даты. Люди вдоль стен переглянулись: про чек не знал даже Ма Тэн. Про чек знала только она, и никто так и не понял, был чек на самом деле или она придумала его за секунду до того, как произнести.

Второй вопрос она задала в самом конце, когда всё уже было сказано.

— Почему? — спросила она. — Ты двенадцать лет на клан. Тебя подняли с грузчика до перевозчика. Твою мать в Сучжоу лечили за наш счёт. Объясни мне одно, без вранья, — что ты купил себе на эти деньги такого, чего у тебя не было?

Гао Фэй долго молчал. Кровь из губы стекала ему на воротник, капала на пол между ботинок.

— Смысла, — сказал он наконец. — Вы все живёте так, будто завтра не наступит. А я хотел… чтобы наступило. Чтобы дом, и жена, и чтобы не смотреть каждое утро, кто стоит у подъезда. На наши деньги этого не купишь. А на их — я думал, куплю.

Цзинлэй смотрела на него несколько секунд. Потом сказала — без насмешки и без сочувствия, как ставят точку:

— Значит, ты купил билет в один конец. Просто не прочитал, куда.

В перерыве, когда Ма Тэн отошёл стряхнуть с кулака кровь, девушка достала из внутреннего кармана небольшую фляжку из матовой стали. Отвинтила крышку, отпила. По залу прошёл запах кофе — крепкого, с молоком, с какой-то сладковатой ноткой. Гао Фэй, висевший на верёвках, вдруг заговорил снова — уже не в её сторону, а куда-то в пол:

— У меня мать в Сучжоу. Она ничего не знает. Она думает, я на логистической работаю, нормальной, я ей деньги шлю… Если вы меня… хотя бы скажите ей, что авария. Машина. Авария, ладно? Пожалуйста.

Девушка закрутила крышку и убрала фляжку. Она ничего не ответила, и это было само по себе ответом, и Гао Фэй понял его правильно: никаких аварий. В их ремесле тела предателей не возвращали матерям. Их делали вопросом, на который некому ответить.

Допрос шёл уже третий час. Потом четвёртый. За окнами под крышей — узкие, забранные решётками полоски стекла — начало светлеть, и темнота в зале сделалась серой, не такой плотной. Ма Тэн работал медленнее, экономя и себя, и допрашиваемого: спешить было некуда, а мёртвый раньше времени пленник не говорит вообще. Гао Фэй сдал всё, что имел. Потом начал сдавать то, чего не имел, — выдумывать, лишь бы остановили, и вот тут девушка впервые за ночь пошевелилась по-настоящему.

Она подняла левую руку — запястье, два пальца, короткий взмах, как отмахиваются от мухи.

— Достаточно.

Ма Тэн замер с поднятым кулаком и отступил на шаг.

— Он начал врать, — сказала она ровно, будто констатировала диагноз. — Значит, живое закончилось. Избавьтесь от него и доложите помощнику главы. Всё, что он сказал про Макао и чайную, — пусть Сун проверит до полудня. Если счёт настоящий, переведите деньги и закройте его. Мёртвым деньги не нужны.

Она поднялась из кресла. Пиджак качнулся, алые драконы на борте мелькнули в свете лампы и пропали. Меч она взяла в левую руку — за середину ножен, горизонтально, несла его, как несут папку с бумагами, без торжественности. Она не посмотрела на Гао Фэя больше ни разу — не из брезгливости и не из жалости; просто вопрос был закрыт, папка подшита, а она не перечитывала сданные в архив дела.

Люди вдоль стен расступились. Один из новеньких, молодой, стоял ближе к проходу и не успел отвести глаз — встретился с ней взглядом на долю секунды. Он побледнел так заметно, что старший, стоявший рядом, без слов дёрнул его за рукав и развернул лицом к стене. За два года, что Линь Цзинлэй работала личным хирургом клана Хэйфан, в Шанхае успели привыкнуть: внучке главы в глаза не смотрят. Сначала думали, что это почтение к старшим. Потом видели, как она работает, — и поняли, что это инстинкт, тот самый, по которому мелкая живность замирает, когда мимо проходит что-то большое и голодное.

Она уже дошла до дверей, когда Гао Фэй нашёл в себе голос в последний раз:

— Погоди! Постой! Я ещё… я знаю ещё! Про осенний конвой, про оружие, я…

Она не обернулась. Она знала, что он знает. Ещё час назад она бы остановилась. Но час назад информация стоила часа, а сейчас стоила уже слишком дорого — и вся эта арифметика была проделана у неё в голове давно, без эмоций, как баланс по счёту.

У дверей её нагнал Ма Тэн — неслышно, как всегда; он умел быть неслышным при своих габаритах лучше, чем иные при своих сорока килограммах.

— Вопрос, — сказал он коротко. — Мать. В Сучжоу.

— Он просил аварию, — ответила она, не останавливаясь. — Аварий не бывает, ты знаешь. Матери — ничего. Никаких звонков, никаких писем, никаких «случайных людей», которые скажут доброе слово. Пусть ждёт. Ожидание — единственное, что мы можем ей подарить бесплатно.

— Понял. — Ма Тэн двигался рядом, на полшага сзади и на плечо ниже, и всё равно умудрялся казаться тенью. — Тело — в печь на Северном?

— В печь. Вещи — отдельно, документы — тебе, вдруг Сун захочет взглянуть до утра. Телефон разбери, симку в воду, сам аппарат в печь следом. — Она остановилась на пороге, вспомнив. — И ещё. Новенький, который у прохода стоял. Хао Дун, кажется.

— Хао Дун, — подтвердил Ма Тэн.

— Он смотрел.

— Заметил.

— Переведи его на месяц на внешний периметр. Не наказание — прививка. Пусть привыкнет стоять там, где не видно ничего интересного. Тот, кто не умеет отводить глаза внутри, рано или поздно научится видеть лишнее снаружи.

Ма Тэн кивнул, и в этом кивке была не только покорность: он сам, два года назад, стоял где-то на месте Хао Дуна — не в буквальном смысле, на периметре он отстоял своё ещё при старом главном дознавателе, — но любопытство своё он прививал себе долго и помнил, чего это стоило.

Снаружи пахло дождём, хотя дождь закончился ещё до полуночи. Асфальт был мокрый, чёрный, зеркальный; в нём отражались немногие уцелевшие фонари промзоны и одна неоновая вывеска на соседнем корпусе — чужая, полуслепая, мигающая. У ворот её ждала чёрная машина. Водитель увидел её, вышел, открыл дверцу — и только потом заметил, что она уже взялась за ручку сама.

— В клинику, — сказала Цзинлэй, усаживаясь. — И остановись у «Синьхуа». Ночная смена должна была оставить кофе.

Водитель кивнул и молча поехал. Он возил её полтора года и давно научился главному: не разговаривать, не смотреть в зеркало заднего вида дольше секунды и никогда — никогда — не спрашивать, почему на лацкане её пиджака темнеет что-то, похожее на краску.

Город за окнами машины катился назад, к центру, и менялся квартал за кварталом, как меняется вода в реке — незаметно и полностью. Сначала промзона: низкие цеха, заборы с колючей проволокой, спящие погрузчики под брезентом. Потом склады поменьше и авторынок, мёртвый до утра. Потом первые жилые кварталы — тёмные, только на девятом этаже одной из башен горело окно, и кто-то в этом окне стоял неподвижно, глядя в ночь, и у Цзинлэй мелькнула мысль, что у каждого города есть такие окна: в них никогда не спят, в них всегда кто-то стоит, и никто никогда не узнает почему. Потом потянулись кварталы побогаче, с подсветкой фасадов, с платанами вдоль тротуаров, и наконец машина свернула на Яньаньскую дорогу, где ночь была не такой тёмной — там работали круглосуточные.

«Синьхуа» стояла на углу, втиснутая между аптекой и закрытым цветочным: узкая кофейня, четыре столика, полоса света на тротуаре. За стойкой дремала тётушка Хуа — вдова водителя, который двенадцать лет возил клановские грузы и умер в прошлом году от сердца, в собственной постели, что в его профессии считалось роскошью. Клан поставил её сюда торговать кофе — так у Хэйфан делались пенсии: не деньгами в конверте, а делом, которое кормит. Тётушка Хуа не знала ничьих тайн, не умела ничего, кроме кофе и порядка, и к ней заезжали в самые странные часы самые разные машины — не потому что здесь был лучший кофе в Шанхае, а потому что тётушка Хуа никогда ничего не запоминала. Ни лиц, ни номеров, ни времени. Это была её вторая профессия, и в ней она была мастером.

Увидев Цзинлэй, она встрепенулась, улыбнулась беззубо и тепло и сразу полезла под стойку.

— Сироп заканчивался, деточка, я вчера новый открыла, — заговорила она, не дожидаясь заказа. — Кокосовый. Для тебя одной и держу — больше его никто не берёт, все берут ваниль, ваниль да карамель. — Она ловко гремела стаканчиками. — Как всегда? Двойной?

— Как всегда. — Цзинлэй положила на стойку купюру, которую тётушка Хуа тут же, по привычке, спрятала, не пересчитывая. — И Ханю чёрный, большой. Он в машине.

— Бедный Хань, — вздохнула тётушка Хуа с чувством, будто чёрный кофе был болезнью. — Часа полтора, наверное, не спал.

— Три. Все три.

— Все три, — согласилась тётушка Хуа, и это было единственное, что она за вечер запомнила: что кто-то не спал три часа. Кто именно — через минуту после отъезда машины она уже не смогла бы сказать.

Цзинлэй забрала стаканчики и вернулась в машину. Свой она открыла сразу, и машина наполнилась запахом, который водитель Хань за полтора года выучил лучше собственного: крепкий кофе, молоко и эта странная сладость, кокосовая, неуместная, как вышивка на похоронах. Он не знал, что этот же запах она оставляет после себя везде, где работает, — на складах,

в подвалах, на задних сиденьях чужих машин, — и не догадывался, что когда-нибудь, очень нескоро, один слепой человек в полицейском управлении будет держать голову наклонённой и слушать носом, пытаясь понять, откуда на месте чужого преступления пахнет капучино с кокосом.

Она пила мелкими глотками, глядя в окно. Фляжка в кармане пиджака оттягивала борт знакомой тяжестью — фляжка опустела ещё на складе, и это раздражало её больше, чем Гао Фэй, больше, чем ночь без сна, больше, чем «подарок», который, она знала, уже ждёт её в клинике. Маленькие неудобства всегда раздражали её сильнее больших. Большие были работой. Маленькие были личными.

За два года она выучила простую вещь: страх — это ремесло, как хирургия. Его нельзя купить, как покупают капитана Вэя, и нельзя унаследовать, как она унаследовала фамилию Линь и кровь деда. Его можно только сделать — аккуратно, стежок за стежком, — из чужих рассказов, из собственного спокойствия, из слухов, которые никто не опровергает. Страх, сделанный хорошо, работал сам, без расходников и без выходных: люди сами отводили глаза, сами расступались, сами докладывали ей о нарушителях раньше, чем те успевали нарушить. Дед когда-то сказал ей при первой их настоящей встрече: «Власть — это когда тебя слушаются. Страх — это когда тебя слушаются заранее». Ей было тогда восемнадцать. Сейчас, в двадцать, у восточных ворот складов работал курьер, который не смел выйти в город без спроса, а в приёмной её клиники женщина с простреленным плечом молчала сорок минут, потому что знала, кому шьют рану. Стежки ложились ровно.

Машина свернула в тихий переулок. Впереди, за закрытым двором, ждала клиника — и конверт с красивым почерком, и человек на столе, зашитый дилетантом.

Клиника стояла в тихом переулке в трёх кварталах от больницы общего профиля — так близко, что слышала её сирены, и так удачно, что до неё не дотягивались её камеры. Снаружи — узкое двухэтажное здание с табличкой «Линь. Частная хирургическая практика» и лёгким налётом обветшалости, который в Шанхае ценится дороже ремонта: обветшалость означает, что место старое, а старое место не вызывает вопросов. Вопросов не вызывало и то, что окна первого этажа всегда были занавешены, а задняя дверь вела в закрытый двор, куда мог заехать микроавтобус.

К рассвету во двор как раз заехал микроавтобус.

Она приехала следом, с минимальным интервалом, какого требовала осторожность: две машины, два маршрута, десять минут разницы. Сторож открыл ей заднюю калитку — старый, безымянный для всех, кто моложе сорока; звали его только «эй», и он откликался, — и она вошла в клинику через чёрный ход, мимо печи, мимо кладовой, по коридору, пахнущему хлоркой и чуть-чуть — старой медью. В приёмной горел ночник. Сяо Мэй спала на кушетке под тремя папками вместо одеяла, и Цзинлэй прошла мимо неё так, как ходила всегда, — не скрипнув ни одной половицей, она знала здесь каждую, — и только у лестницы в подвал задержалась и накрыла ассистентку пледом с кресла. Это был единственный жест такого рода за всё утро, и никто его не видел, иначе она бы его не сделала.

Цзинлэй спустилась в подвал через десять минут после микроавтобуса. Она успела снять пиджак — повесила на крючок у двери, на длинный крючок, вбитый специально под его длину, — засучить рукава рубашки и взять с вешалки белый халат. Халат она надевала только здесь, в подвале. Наверху, в приёмной, она работала в рубашке и перчатках; белый халат был униформой мёртвых, и она не смешивала гардероб живых и мёртвых даже в мелочах.



Подвал клиники. Её рабочее место

На столе, под хирургической лампой, лежал мужчина. Мёртвый часов двенадцать, судя по трупным пятнам и плотности окоченения, — окоченение уже разрешалось в крупных суставах, но в мелких держалось. Лет сорока, хорошо одетый, когда был жив: на запястье остался светлый след от дорогих часов. Часы сняли. Лицо было спокойным, почти скучающим — такое бывает у тех, кого убили быстро и без предупреждения, один укол тонкого в сонную артерию, пока человек смотрел в другую сторону.

Рядом с телом на столе лежал конверт. Плотная бумага, без марок. Внутри — карточка, на которой от руки, с красивым нажимом, выведено: «Младшей госпоже Линь. С уважением и небольшой просьбой. Чжао».

— Подарочек, — сказала Цзинлэй вслух, ни к кому не обращаясь, и отложила карточку.

Чжао Миндао, глава соседнего клана, не делал подарков без расчёта. Он вообще ничего не делал без расчёта, и если уж тратился на свежий труп и микроавтобус с водителем, который потом надёжно забудет дорогу, значит, внутри этого тела лежало что-то, что стоило и трупа, и автобуса, и риска.

Передняя брюшная стенка покойника была рассечена и зашита заново. Шов тянулся от мечевидного отростка вниз, кривовато, не по линии, которую выбрал бы хирург. Цзинлэй наклонилась ближе к лампе. Стежки — шёлк, толстый, узлы завязаны по-разному: три хирургических, потом два простых, бабочкой, как на мешке с картошкой. Длина стежков гуляла от пяти миллиметров до полутора сантиметров. Кожа по краям шва сморщилась неравномерно.

— Дилетант, — констатировала она. — Или торопились.

Она обошла стол кругом, медленно, с руками, сложенными за спиной, и рассматривала покойного, как рассматривают письмо, прежде чем вскрыть конверт. Чжао Миндао мог послать эту посылку главе Хэйфан — её деду, человеку, с которым Чжао делил набережную уже десять лет, деля и воюя одновременно. Но посылка пришла ей. Лично. «Младшей госпоже Линь» — так на карточке, и это была не вежливость, это была адресация с точным расчётом: Чжао знал, чьи руки в клане самые аккуратные, и знал, что она найдёт груз быстрее, чем любой

патологоанатом города. Значит, ему было важно не спрятать, а передать. Через её руки — господину Суну, через Суна — деду. Чжао Миндао пользовался её пальцами, как почтовым ящиком, и у неё от этого неприятно свербело под лопатками: почтовым ящикам не платят, их просто используют.

Оставался вопрос, почему груз шёл таким странным способом. Флешку можно было передать курьером, почтой, в конце концов — просто выбросить в урну у чужого подъезда и сообщить код. Но человек, который зашивает ценность в труп, хочет сказать что-то ещё. Что-то, для чего слов уже не хватало. Покойник на её столе был письмом, написанным целиком, от первой до последней строчки.

— Ладно, — сказала она тихо. — Читаем.

Она взяла с инструментального столика скальпель, повертела в пальцах, ловя свет, и положила лезвие на кожу точно по линии чужого шва — не рядом, не параллельно, а в ту же бороздку, чтобы потом не путаться, где чей разрез. Первое движение — короткое, пробное; второе — длинное, уверенное, на всю глубину. Она развела края раны хирургическим расширителем и ввела внутрь два пальца правой руки.

Подвал был холодным — в нём держали восемнадцать градусов, — но под пальцами было холоднее и влажнее. Она работала не спеша, на ощупь, глаза при этом смотрели не на рану, а куда-то в стену: зрение здесь было лишним, всё решали кончики пальцев. Брюшина. Петля тонкой кишки, гладкая, скользкая. Сальник, похожий на мокрую тряпку. Где-то глубже — плотное, неподатливое, своё, печёночное… Нет. Она повела пальцами влево, к забрюшинному пространству, и нащупала то, чего там быть не могло.

Маленькое. Твёрдое. С острым углом.

Она не стала выдёргивать. Она обвела предмет пальцем по контуру — прямоугольник, два на три сантиметра, в плёнке, — поддела его краем ногтя и вывела наружу вместе с липкой тёмной слизью.

На ладони, в прозрачном герметичном пакетике, лежала флешка. Чёрная, самая обычная, без опознавательных знаков. Сквозь пакетик было видно, как на ней осела капля.

Цзинлэй посмотрела на неё секунды две — и уголки её губ поползли вверх. Улыбка получилась довольная, почти мальчишеская, совсем не похожая на ту, отельную, с которой она сидела ночью напротив Гао Фэя. Эту улыбку в клане видели редко: она означала, что игра оказалась интереснее, чем обещали правила.

Флешку она отложила в лоток, на салфетку, — и вернулась к телу. Груз извлечён, но письмо она дочитала не до конца: осталось понять, кем был почтальон.

Документов при нём не было — их не было никогда. Пальцы рук целы, подушечки не спилены, лицо не тронуто: личность скрывать не пытались, и это само по себе было сообщением. Чжао Миндао не прятал человека — он выставлял его напоказ, ждал, что его опознают, и, значит, знал наверняка: опознать его есть кому в доме Линей. Цзинлэй взяла руку покойного и повернула к свету. Кожа на указательном и среднем пальцах правой руки — в мозолях не тех, что бывают у грузчика: ровные, продольные, у первой фаланги. Так натирает ручку, которую держат по шесть-восемь часов в день, много лет подряд. Ногти обрезаны коротко и неравномерно — не маникюр, а собственные старания, левой рукой по правой, правой по левой; человек, который следит за собой без чужой помощи. На безымянном пальце левой руки — светлая полоса и вмятина: кольцо носили долго, сняли недавно, может, за час до смерти, может, уже после. Под ногтями чисто — не защищался, не цеплялся ни за кого и ни за что. Она посмотрела глубже: лунулы бледные, кожа у ногтевых валиков сухая. Человек, который нервничал последние месяцы жизни сильнее, чем ест.

Она открыла рот покойного — челюсть подалась туго. Зубы — в дорогих коронках, работа хорошей клиники, где-то из тех, что принимают без записи за наличные. Но теперь её интересовало другое: язык. Прижат, прикушен сбоку, ранка свежая, успела налить. Он прику-

сил язык не в агонии — в момент укола. Значит, секунда у него была. Одна секунда, чтобы понять. Он понял и не успел сделать с этим ничего, кроме как прикусить себе язык, и Цзинлэй на мгновение представила эту секунду изнутри: игла входит в шею сзади, мир ещё стоит на месте, а ты уже знаешь. Она ничего не почувствовала к этой секунде — ни жалости, ни удовольствия; она просто зафиксировала её, как фиксируют показания прибора, и пошла дальше.

На левом плече, под ключицей, нашёлся старый шрам — длинный, неровный, зашитый когда-то криво, на живую нитку, полевой работы. Лет двадцать шраму, не меньше. Молодой Чжао Миндао двадцать лет назад резался за набережную на ножах — об этом в клане Хэйфан знали все, кто умел слушать старших. У этого человека был шрам из тех же времён. Свой, старый, из первых людей Чжао. Может, казначей, по мозолям. Может, счетовод. Человек, который знал цифры клана Чжао так, как их не знает никто, — и которого Чжао Миндао собственным приказом превратил в конверт.

Цзинлэй сняла с полки одноразовый фотоаппарат — клиника не держала цифровых камер, и память телефонов в подвале не бывала чище совести, — и сделала три кадра: лицо, руки, шрам. Плёнку она потом отдаст Суну вместе с флешкой: пусть старшие опознают своего коллегу по чужому клану. Её дело было мелкое и точное: вскрыть, извлечь, описать, зашить. Почтальон выполнил свою работу. Она выполнила свою.

Она стянула перчатки — одну, вторую, — выкинула в жёлтый контейнер с биоотходами и продезинфицировала руки. Флешку ополоснула физраствором, вытерла и подняла над головой, к лампе, словно через пластик можно было разглядеть, что на ней записано.

— Лихэ! — крикнула она, не повышая голоса сверх необходимого, но так, что звук ушёл вверх по лестнице и в приёмную.

Шаги простучали сразу — быстрые, цокающие, с перебором. Лихэ всегда бегал. По лестнице он скатился через ступеньку и влетел в подвал, чуть не снеся по дороге стойку с капельницей: молодой парень, золотистые волосы торчат так, будто он всю ночь спал на них лицом, в левом ухе — серьга гвоздиком, на щеке — свежая царапина неизвестного происхождения. Он улыбался. Лихэ улыбался всегда: когда приносил кофе, когда ассистировал, когда таскал наверх мешки с тем, что полагалось сжечь.

— Да, босс? — выпалил он, выравнивая дыхание.

— Держи. — Она протянула ему флешку в пакетике и маленькую картонную коробочку. — Отнесёшь помощнику главы. Господину Суну. Лично в руки. Никому по дороге не показываешь, ни с кем не разговариваешь, никуда не заходишь. Если спросят, что везёшь — образцы на анализ. Если спросит кто-то из старших — молчишь и идёшь дальше, я разберусь.

— А в коробочке что?

— Плёнка. Скажешь Суну: это почтальон. Лицо, руки, шрам под ключицей. Пусть покажет старшим — человек не наш, из первых у Чжао, лет двадцать назад резался за набережную. Дальше они сами знают, что с этим делать.

— Лично в руки, никому не показываю, образцы на анализ, плёнка — это почтальон! — отбарабанил Лихэ, бережно, двумя пальцами, принимая пакетик и коробочку. — Будет сделано!

— И Лихэ.

Он уже развернулся к лестнице и обернулся через плечо.

— Не заглядывай внутрь. Даже из любопытства. Особенно из любопытства.

Улыбка у него дрогнула — не пропала, а сделалась чуть менее широкой и гораздо более взрослой. Он кивнул, спрятал пакетик во внутренний карман и побежал наверх. Цокот стих во дворе, потом взвизгнули тормоза мотоцикла — Лихэ гонял на старом «яме», которую чинил сам и которую весь переулок слышал за три квартала.

Цзинлэй вернулась к столу. Теперь, когда груз извлечён, а почтальон описан, тело превратилось в обычную работу. Вскрывать дальше смысла не было: причина смерти читалась и

так, без вскрытия — кто-то, кому Чжао Миндао доверял укол, подошёл к человеку со спины, и человек даже не успел удивиться. Она зашила разрез обратно — аккуратно, ровными стежками, лучше, чем тот, кто шил до неё, — вымыла стол, инструменты, руки.

Халат она сняла у двери, повесила на его крючок, взяла чистые перчатки — и поднялась наверх, в дневную смену.

Приёмная была полна. На скамейке у окна сидел парень лет девятнадцати, бледный, прижимавший к боку полотенце, из-под которого проступало тёмное: ножевое, свежее, его принесли свои же. У стены стояла женщина с простреленным плечом — пуля прошла навылет, кость не задета, женщина молчала и смотрела прямо перед собой с выражением человека, который не собирается объяснять ничего и никому. В углу дожидался старик по прозвищу Фармацевт — торговал в доках тем, что в рецептах не пишут, — и держал на коленях кисть руки с почерневшим пальцем. По приёмной сновали двое помощников: один таскал стерильные лотки, второй — стиральную машину с инструментами и кипятильник; Сяо Мэй, ассистентка, стояла у стола регистрации и спорила с кем-то по телефону шёпотом, но зло.

Цзинлэй прошла к столу. Сняла с вешалки шапочку, собрала волосы.

— Берём сначала плечо, — сказала она Сяо Мэй. — Навылет, крови мало, но потеряет сознание от боли раньше, чем мы закончим с парнем. Потом ножевое. Фармацевта — в конец: палец всё равно не спасти, отберём под наркозом, ему без разницы, через час или через два.

— Он говорит, у него клиент ждёт, — доложила Сяо Мэй, закатывая глаза.

— Скажи клиенту, что товар оставляют на том свете. — Цзинлэй надела перчатки, хлопнула латексом по запястью. — Или пусть ждёт. Мёртвый Фармацевт никому товар не продаст.

Дальше было ремесло. Четыре часа под лампой: промыть, обезболить, обработать края, сшить сосуды там, где ещё было что сшивать, наложить швы ровно, косметично, как она умела — так, что через год останется белая ниточка вместо рубца. Парень с ножевым ныл и дёргался, пока не вступил в силу анальгетик; Фармацевт уснул до того, как Сяо Мэй досчитала до десяти.

С женщиной и её простреленным плечом вышло иначе. Она не издала ни звука за все сорок минут — только дважды сжала зубы так, что на скулах проступили жёсткие бугры. Когда Цзинлэй промывала канал раны, женщина вдруг заговорила — глядя не на неё, а в потолок:

— Ты та самая. Внучка.

— Я врач, — ответила Цзинлэй, не поднимая глаз от иглы.

— Мой брат работал на складах в Баошане. Говорил про тебя. — Женщина помолчала. Узел лёг, следующий стежок. — Он говорил, ты не человек. Что у тебя внутри пусто.

Цзинлэй затянула последний узел и отрезала нить.

— Твой брат стоял вдоль стены и молчал, как все, — сказала она. — А теперь вдоль стены стоит кто-то другой. Лежи спокойно ещё десять минут, потом Сяо Мэй перевяжет. Плечо сохранишь.

Она сняла перчатки и ушла мыть руки. Женщина проводила её взглядом, и в этом взгляде не было ни благодарности, ни ненависти — только то самое, привычное, чем Цзинлэй давно перестала интересоваться: люди смотрели так, когда не могли решить, благодарить её или бояться, и в итоге делали и то и другое одновременно.

Парня с ножевым звали Ацзе, и он был младшим братом одного из портовых бригадиров — факт, который Сяо Мэй сообщила ей шёпотом, пока Цзинлэй готовила наркоз, потому что Сяо Мэй знала про всех всё и делилась ровно тогда, когда это имело смысл. Ножевое было скользящее, поверхностное для брюшной стенки, но глубокое у ребра: кто-то резал его сверху вниз, стоя, а парень отклонялся. Лежа на столе, под местной анестезией, он таращился в потолок и рассказывал — наркоз развязывал ему язык, — как подставил бригадира: взял у него денег на ставки, проиграл, взял ещё, а когда бригадир потребовал вернуть, сказал ему, что брат-то у него важный человек и «решит вопрос». Бригадир вопрос решил ножом. Брат появился

через полчаса после того, как Ацзе принесли, — грузный, в спецовке, он стоял в дверях операционной, не решаясь войти дальше порога, и смотрел, как Цзинлэй шьёт.

— Он жить будет? — спросил он наконец.

— Будет, — сказала Цзинлэй, не оборачиваясь. — Вопрос не в этом. Вопрос, будет ли он учиться.

Бригадир помолчал. Потом сказал — глухо, не ей даже, а куда-то в стену:

— Я его столько раз вытаскивал. Матери обещал.

— Матери ты обещал, — согласилась она, завязывая очередной узел. — А платить буду я. Услуга за услугу. Он живёт — ты забываешь, что у восточных ворот в четверг ночью было стоянка трёх машин без номеров. Твои люди её видели. Теперь не видели.

Бригадир стоял тихо секунд десять. Потом его спецовка прошуршала — он кивнул, хотя она не видела, — и сказал:

— Договорились, госпожа Линь.

— Вот и учись у брата, — сказала она тогда, отрезая нить, и впервые за разговор посмотрела на него. — Он хоть и дурак, но когда его режут — не врёт. Это редкое качество. Дороже твоей спецовки.

Между пациентами в приёмную заглянул человек в дорогом костюме — из клана, незнакомый, — бросил взгляд на Цзинлэй за операционным столом, на её руки в чужой крови, и вышел, так и не задав своего вопроса. Такое тоже случалось.

Фармацевта приняли последним, как и планировала, и он проспал весь свой звёздный час: палец отобрали быстро, культя вышла чистой, а когда он очнулся и обнаружил себя на одну фалангу короче, то посмотрел на забинтованную кисть, потом на Цзинлэй, и спросил единственное, что его интересовало:

— Подписывать бумаги смогу?

— Смогёшь. Печать ставить тоже, если она у тебя есть.

— Есть, — сказал Фармацевт с достоинством и потребовал телефон — звонить клиенту, что встреча не отменяется. Сяо Мэй телефон не дала, сославшись на послеоперационный режим, и он ушёл ворча, что врачи — это единственные люди, которые мажут тебя бетоном и ещё требуют благодарности. Цзинлэй проводила его взглядом без всякой мысли: Фармацевт торговал в доках двадцать лет, пережил четырёх главных таможенников и две зачистки и потому был не интересен — он был из тех, кто переживает всех, кого к нему присматриваются.

К обеду приёмная пахла хлоркой и кофе. Сяо Мэй выставила на столик в кабинете контейнер с лапшой, острую, с двойной порцией перечного масла — заказ пришёл из забегаловки через дорогу, хозяин которой знал, что доктор Линь не ест пресного, — и доложила по-военному чётко, пока Цзинлэй мыла руки:

— За смену: четырнадцать пациентов, трое с денежными вопросами, один — Ацзе — под услугу. Истории на всех напишешь сама или мне начать?

— Сама, — сказала Цзинлэй. — Твой почерк слишком аккуратный. В настоящих историях болезней почерк кривой: врач устал. Если проверять будут — пусть видят усталого врача.

— Поняла, — сказала Сяо Мэй, и по её лицу было видно, что поняла она не только про почерк. Сяо Мэй работала с ней год и десять месяцев и умела главное: слышать то, что сказано, и не слышать того, что сказано было не ей. За этот навык, а не за инъекции, ей и платили втрое против рынка.

К полудню приёмная опустела. Сяо Мэй мыла полы, помощники жгли в печи за домом перевязочный материал. Цзинлэй сидела в кабинете, писала истории — выдуманные, красивые, с правильными диагнозами: такие истории можно было показать кому угодно, и никто бы не нашёл в них ни ножевых, ни огнестрельных, ни Фармацевта. Рядом стояла вторая за утро чашка кофе — капучино, с кокосовым сиропом, который Сяо Мэй заказывала для неё оптом, вёдрами, потому что по-другому шеф кофе не пила вовсе.

Телефон на столе завибрировал. Одно короткое сообщение, без подписи: «Получено. Чистая работа. Домой — до восьми, отец рано».

Она допила кофе, закрыла клинику на Сяо Мэй и поехала домой.

Домой она ехала другой дорогой — вдоль набережной, где в этот час солнце стояло уже низко и река была цвета латуни. Машина выныривала из тени платанов в свет и обратно. На коленях у Цзинлэй лежал телефон с одним неотправленным сообщением, которое она набирала и стирала всю дорогу от клиники: «Кто был почтальон?». В конце концов она удалила его окончательно. Не её работа — знать. Её работа — находить то, что зашито внутри.

Дорога была длинной, и она позволила себе то, что позволяла редко, — вспомнить.

Ей было шестнадцать, когда мать впервые привезла её в подвал на улице Юйцин — не в этот подвал, не в клинику; клиники тогда не существовало. Тот подвал принадлежал доктору Ляо, человеку, которого в его семьдесят с лишним лет знал весь подпольный Шанхай: Ляо шил тех, кого нельзя было нести в больницу, уже сорок лет и говорил, что за эти годы видел внутренности половины города. Мать сказала дочери тогда одну фразу: «Будешь учиться. Два раза в неделю, после школы. Отцу — что на дополнительную анатомию». Цзинлэй не спросила, почему. Она тогда вообще мало спрашивала: спрашивать было незачем, ответы имели свойство приходить сами, если подождать. Доктор Ляо посмотрел на её руки — долго, повертел её ладонь в своей, сухой и тёплой, как бумага, — и сказал: «Годится. Пальцы длинные, пульс спокойный. Смотри, как я делаю». Первый месяц она только смотрела. Второй — держала зажимы. Через полгода Ляо дал ей иглу и сказал: «Шей. Если дрогнет рука — скажи, я подхвачу». Рука не дрогнула. Ни тогда, ни потом, ни разу за четыре года.

Правду она узнала в восемнадцать, в свой день рождения, — так у мамы было заведено: подарки настоящие, не обёрточные. За праздничным столом сидели они втроём, отец рассказывал про свои дела, и всё было как всегда, а ночью мать вошла к ней в комнату, села на край кровати и сказала: «Завтра ты едешь со мной. Одежда тёмная. Ничего не спрашивай у отца». Они ехали сорок минут, и за эти сорок минут Ваньжу рассказала дочери всё: про деда, про Хэйфан, про журналистику, которой не было никогда, про то, что её муж — лучший человек из всех, кого она встречала, и что именно поэтому он никогда ничего не узнает. Цзинлэй слушала и смотрела на дорогу. Когда мать закончила, она спросила только одно:

— Ляо — это вы?

— Ляо — это я, — сказала мать. — Четыре года я готовила тебя к сегодняшнему вечеру.

В тот первый вечер её привезли на квартиру в Сюйцзяхуэй, где на паркете гостиной лежал человек с пулей в груди — свой, клановский, доставленный слишком поздно. Врач, который должен был его принять, не приехал: его задержали на границе с чемоданом, полным того, за что дают пятнадцать лет. Люди в комнате стояли растерянные — были среди них и старшие, и она запомнила эту растерянность хорошо: взрослые, вооружённые, опытные люди не знали, что делать с умирающим. Цзинлэй сняла куртку, попросила кипяток, ножницы, зажимы, всё, что есть, и три часа делала то, чему учил её Ляо. Человек умер под утро — пуля села слишком глубоко, и она знала это ещё в первый час, — но умер он ухоженным, зашитым, без мучений, а она вышла из той комнаты другой. Не потому что человек умер. А потому что пока она работала, в комнате стояла тишина, в которой старшие люди клана смотрели на восемнадцатилетнюю девочку и молчали. Она поняла тогда то, что потом объяснил ей дед другими словами: тишина эта была не горем. Это была оценка. Её взвесили и записали.

Два года спустя её боялись. Это было удобно, это было выгодно, и это ничего ей не стоило — потому что она не делала для этого ничего специально. Она просто оставалась собой: ровной, тихой, точной. Страх, как выяснилось, растёт вокруг таких людей сам, как плесень вокруг сырой стены.

Доктор Ляо учил её не только шить. Шить она выучилась быстро — это было ремесло, а ремесло даётся рукам. Труднее давались его правила, которых было три и которые он не записывал, а вколачивал, как вбивают гвозди, — повторением.

Первое: не спрашивай имени. «Тебя зовут доктор, его зовут пациент, — говорил Ляо, наливая ей зелёный чай, которого она терпеть не могла уже тогда, но пила, потому что отказать Ляо было нельзя. — Имя — это крючок. На имена ловят: тебя, его, твоих родных. Безымянный человек после твоего стола уходит в никуда, а именной оставляет нить. Нам нити не нужны».

Второе: сначала кровь, потом всё остальное. «Не думай, кто он. Не думай, за что. Думай, откуда течёт. Кровь — единственная правда в этой комнате, она не врёт и не торгуется».

Третьего правила он не произносил никогда, и она поняла его сама, года через два: Ляо ни разу за все годы не сказал ей, что она сделала что-то хорошо. «Ровно», — говорил он, и это была высшая оценка. «Ровно» значило: человек ушёл со стола живой. «Ровно» значило: она не ошиблась. Слова «хорошо» в его подвале не существовало, потому что «хорошо» бывает у работ, которые бывают разными, а его работа бывала только двух сортов: ровно и мёртво.

Иногда, поздно вечером, когда работы не было, Ляо рассказывал ей про старый Шанхай, про подпольные госпиталя, в которых сам когда-то стоял за столом двадцатилетним, — и она слушала, понимая: он не рассказывает прошлое, он передаёт его ей, как передают эстафету. Однажды она спросила, почему он вообще взял её, школьницу, с улицы. Ляо ответил, не поднимая глаз от лампы: «Потому что ты не отводишь глаз. Всё остальное я умею вкладывать».

За год до её двадцатилетия Ляо позвал её в последний раз. Подвал был тот же — плитка, пар, старый холодильник, — только полки опустели наполовину. Он сидел за столом, сухой, как всегда, и перед ним стоял его кейс — потёртый, с инструментами, которым было по сорок лет.

— Бери, — сказал он. — Руки у тебя лучше моих были уже тогда, в первый год. Остальное у тебя своё. Я уезжаю к сыну, там внучата, тихо. Не провожай. Прощаться нам нельзя: у людей нашей профессии прощание — это записка с адресом.

Она забрала кейс. Кейс до сих пор стоял в клинике, в шкафу, и пользовалась она им всем, кроме одного: его собственных инструментов она так и не тронула. Некоторые вещи не наследуются. Их хранят.

Машина остановилась у ворот. Солнце село в платаны, и от дома тянуло жареным перцем — мать уже стояла у плиты, и сегодня, как всегда, прислуга была отпущена. Цзинлэй вышла из машины, постояла секунду на дорожке, слушая, как где-то за стеной лает соседский пёс, и пошла к дверям — к ужину, к отцу, к своей второй жизни, которая через несколько часов станет ещё и третьей.

Дом Линей стоял в старом квартале, где платаны смыкались над улицей зелёным сводом, а за высокими стенами прятались сады. Большой дом, три этажа, — Чжэньхэ купил его двенадцать лет назад, когда дочери было восемь, и до сих пор рассказывал гостям, как выторговал у прежнего хозяина целый винный погреб, «который нам, правда, без надобности, потому что мы почти не пьём». Гости вежливо кивали. Никто из гостей не знал, что погреб действительно пуст — Ваньжу вывезла оттуда всё за первый же год, бутылка за бутылкой, потому что дочь не переносила запах алкоголя, а сама Ваньжу не видела смысла пить там, где не пьёт её ребёнок.

В семь вечера в доме пахло жареным перцем. Ваньжу хозяйничала на кухне сама — прислугу она отпускала к ужину, всегда, по всем дням: прислуга готовила обеды, но ужин в этом доме готовила только мать семейства, и это было не обсуждаемо. На ней был домашний — но безупречный — вид: белая рубашка с закатанными рукавами, чёрная юбка, волосы, светлые от природы и выкрашенные в глубокий бордо, собраны на затылке. Очки в тонкой оправе она не сняла даже у плиты и то и дело поправляла их костяшкой пальца, потому что руки были в масле.

На столе уже дымились три блюда, когда входная дверь хлопнула, и в коридоре раздался голос — громкий, бодрый, с хохотом ещё до шутки:

— Семья! Докладываю: вернулся, живой, голодный, и у меня для вас новости!

Линь Чжэньхэ вошёл в столовую так, как входил всегда, — будто комната ждала именно его и ему это известно. Пиджак он успел снять ещё в коридоре и повесить на спинку стула, галстук ослабил, рукава закатал по локоть. Седина на висках делала его старше своих сорока восьми, но только на фотографиях; вживую в нём было столько движения, что седина казалась костюмом, надетым в шутку. Он поцеловал жену в висок, заглянув ей через плечо в сковороду, отступил на шаг с поднятыми руками, когда она погрозила ему лопаткой, и рухнул на стул во главе стола.

— Дочь дома? — спросил он.

— Здесь, — отозвалась Цзинлэй с дивана у окна, где сидела с планшетом и чашкой кофе. Третьей за день. — Привет, пап.

— Привет, привет. — Чжэньхэ повертел головой, нашёл её взглядом, прищурился на чашку. — Опять эта твоя бурда? Ваньжу, скажи ей. Чай — полезнее. Зелёный чай — это тысяча лет китайской мудрости.

— Зелёный чай — это когда хочется спать, — отозвалась Цзинлэй, не отрываясь от планшета. — А мне ещё истории болезней писать. К тому же твоя тысяча лет мудрости горькая.

— Кофе горький!

— Кофе — честно горький. А чай притворяется полезным.

Чжэньхэ покрутил головой с видом человека, потерпевшего сокрушительное поражение в споре, к которому он привык, и потянулся за чайником — налил себе, потом жене. Ваньжу внесла последнее блюдо — мапо-тофу, ярко-красный от перечного масла, — и поставила его не в центр стола, а прямо перед дочерью. Цзинлэй подняла глаза от планшета.

— Острый?

— Как ты любишь, — сказала Ваньжу. — Сычуаньский перец я сама толкла.

Она села справа от мужа, сняла фартук — на кухне она оставляла его на крючке, и это тоже был ритуал — и положила ладонь на рукав Чжэньхэ, пока тот разливал суп. Просто положила, на секунду, и убрала. Чжэньхэ этого жеста не заметил — он замечал его двадцать два года и перестал замечать, как перестают замечать собственное дыхание, — но на Ваньжу смотрел, пока она садилась, и улыбался уголком рта, и у неё в ответ что-то делалось с лицом: черты, целый день державшиеся ровными и закрытыми, таяли по краям, как лёд под краном.

Ужин начался, как начинался всегда: Чжэньхэ говорил.

Он рассказывал про отдел — про капитана Вэя, который опять требует результатов «вчера»; про то, как в обед он убедил двух свидетелей дать показания просто тем, что заказал им лапшу и сел рядом «по-человечески». Он рассказывал вкусно, с лицами, с голосами, и Ваньжу смеялась в нужных местах, а Цзинлэй ела мапо-тофу и слушала — слушала так, как слушают брифинг.

— А стажёр, — Чжэньхэ постучал палочками по столу, предвещая главную новость дня, — стажёр — это отдельная опера. Цзя Лэ. Парень золотой, честный, как стекло, но от волнения у него всё перепутано в голове. Вчера выдаю ему две коробки с уликами — по нашему делу и по кражам на складах, — и говорю: подпиши и сдай. Он подписал. И сдал. Наоборот. — Чжэньхэ развёл руками с восторгом человека, который и сам когда-то был таким. — Представляешь, эксперт Цинь открывает коробку по кражам — а там наш брезент с причала! Он думал, у него глюки. Он мне потом говорит: «Чжэньхэ, я пятнадцать лет в криминалистике, но чтобы брезент мигрировал между делами — такое я вижу впервые».

— И что ты сделал? — спросила Ваньжу.

— Что сделал… — Чжэньхэ почесал затылок. — Купил ему ламинатор. Чтобы памятку заламинировал и носил с собой. «Шаг один: проверь номер дела. Шаг два: проверь ещё раз».

— Он вздохнул счастливо. — Ругается он, а сам носит. Видела бы ты, как он эту карточку гладит. Думает, никто не видит.

Цзинлэй запомнила: стажёр Цзя Лэ, золотой, честный, путает коробки, носит памятку. Такие люди в секторе были даже удобны: они не лгут никому, значит, и её ложь у них не вызовет вопросов, — честные люди вообще плохо распознают чужое враньё, у них нет для этого внутреннего прибора.

— А дело-то наше главное — мёртвое, — Чжэньхэ покрутил палочки в пальцах и нахмурился, впервые за вечер. — Третий человек за месяц пропадает в порту. Грузчики, мелкие перевозчики, один диспетчер. Люди без связей, без врагов, без долгов. Исчезают — и всё, как в воду канули. Ни тел, ни машин, ни записей. Камеры в доках — сплошная решето, половина не работает, вторая половина смотрит в стену. Я сегодня сам прошёл весь периметр…

— И что? — спросила Цзинлэй.

— И ничего. Вот что странно, дочь. — Он постучал палочкой по краю тарелки. — Я двадцать лет в этом. Люди не исчезают бесследно, это не бывает. Следы есть всегда — вопрос цены. А тут как будто кто-то проходит за мной с веником. День в день. Я нахожу свидетеля — свидетель наутро уже «ничего не видел». Я запрашиваю записи — записи оказываются «стёрты по регламенту». Понимаешь, что это значит?

Цзинлэй прожевала, проглотила, отпила кофе.

— Что у веника есть хозяин, — сказала она.

— Вот! — Чжэньхэ ткнул палочкой в её сторону, восхищённо. — Слышала, Ваньжу? Вот это голова! У нас в отделе полгода до такого не доходили, а она с одной фразы. Это организованная работа, дочь, это не банда, это система. Профессионалы. Чистильщики.

Слово повисло над столом на полсекунды дольше, чем положено словам.

Цзинлэй положила себе ещё тофу. Движения её рук не изменились ни на миллиметр: палочки легли ровно, порция легла ровно, она даже жевать продолжила в том же темпе.

— Чистильщики? — переспросила она с лёгким интересом. — Это ты из кино слово взял?

— Из практики. В Гонконге в девяностых так работали триады. Убирают улики раньше, чем мы их вообще находим.

— А свидетель твой, который «ничего не видел», — Цзинлэй повертела палочки, закладывая следующий вопрос, как закладывают шов: неглубоко, но точно. — Он хоть что-то описал до того, как испугался? Ну, хоть фигуру, хоть рост. Врачебный интерес: я по описаниям людей умею прикидывать, какие у них травмы бывают.

— Описал. — Чжэньхэ зажёгся, как зажигался всегда, когда дело трогали за живое. — Неделю назад. Стоял в темноте у восьмого причала — и видел, как со склада выносят что-то тяжёлое, вдвоём, в брезенте. Человек высокий руководил, в капюшоне. Лица не разглядел — далеко, темно. А наутро — «ничего не видел, перепутал, спал дома». И глаза такие, дочь, знаешь… Я двадцать лет смотрю в глаза. Там было не «не хочу». Там было «мне сказали». — Он стукнул ладонью по столу, тихо, но от всей души. — Мне сказали! Понимаешь? До моих свидетелей кто-то доходит раньше меня. В моём собственном городе.

Ваньжу в этот момент наполняла чайник из кипятильника. Рука у неё дрогнула ровно настолько, чтобы одна капля упала на скатерть, — и она тут же, в том же движении, накрыла её салфеткой, прежде чем кто-то успел заметить. Цзинлэй заметила. Цзинлэй замечала всё, но эту каплю она заметила особо: высокий человек в капюшоне у восьмого причала — это был не слух, не папка, не чужое донесение. Это был рассказ её отца за её собственным столом, и мать только что пролила кипяток.

— Высокий в капюшоне, — повторила она задумчиво. — Пап, а ты уверен, что высокий? В темноте все кажутся выше. Тени играют.

— Может, и играют, — согласился Чжэньхэ. — Может, и не высокий. Может, вообще их трое было. Но кто-то там стоял, дочь, и кто-то выносил, и это «что-то» в брезенте никто так и не нашёл. — Он вдруг улыбнулся и покачал головой. — Слушай, а чего это я грузю тебя? Ты врач, у тебя свои трупы. — Он рассмеялся собственной шутке, искренне и беззаботно. — Ладно. Как твой день-то прошёл? Клиника не развалилась без меня?

— Развалилась дважды, я собрала. — Цзинлэй пожала плечами. — Обычный день. Порезы, переломы, один аппендицит, который оказался отравлением. Пациенты живы, касса сошлась.

— Вот молодец. — Чжэньхэ кивнул с той простой гордостью, какой гордятся удачей в лотерею. — Знаешь, я сегодня думал: хорошо, что ты врач. Врач — это понятно. Человека разрезал — человека зашил. А у нас вот — разрезал, а там темно. Хотя ты и в детстве такой была. Ваньжу, помнишь велосипед?

Ваньжу помнила. Она на секунду опустила палочки.

— Как же, — сказала Чжэньхэ, поворачиваясь к дочери и не дожидаясь ответа жены. — Тебе семь лет, свалилась с велосипеда с пригорка — локоть до кости, кровища, я прибегаю, у меня всё внутри холодеет. А ты сидишь на асфальте и смотришь на руку. Не ревёшь. Ни звука. Смотришь — и говоришь: «Пап, тут зашивать надо, видишь, края разошлись». Семь лет! Я потом неделю ходил, всем рассказывал: моя дочь — будущий хирург, у неё нервы из проволоки.

— Я помню, — сказала Цзинлэй. — Ты сам тогда еле до больницы доехал. Всю дорогу дрожал.

— Я не дрожал, я… — Чжэньхэ запнулся, поймал взгляд жены и честно признался: — Да, дрожал. А она — нет. — Он покачал головой с виноватой гордостью. — За двадцать лет я ни разу не видел, чтобы ты плакала. Ни разу. Даже когда бабушка умерла. Иногда я думаю — может, что-то с тобой не так, а? А потом смотрю, какая ты у нас выросла, и думаю: всё так. Просто ты вся в меня.

Ваньжу наполнила его чашку чаем. Рука у неё была ровная.

— В тебя, — согласилась она. — Упрямая и не умеет просить. Ешь рыбу, пока горячая.

Цзинлэй ничего не ответила. Она знала, что отец до сих пор хранит фотографию: семилетняя девочка на асфальте, зашитый локоть, сухие глаза. Фотография лежала у него в рабочем столе, в отделе, в ящике, куда он складывал вещи, которые «держат на плаву». В другой ящик того же стола через неделю лягут фотографии с восьмого причала. И это будут уже её ящики тоже.

Ваньжу, сидевшая рядом, подлила мужу супу и спросила — мягко, между делом:

— А кто у тебя теперь ведёт экспертизу по этим пропавшим? Все на том же складе в доках?

— В том же. Пока в том же, — Чжэньхэ не заметил, что вопрос прозвучал слишком точно. Он вообще редко замечал точность в жене: за двадцать два года он привык, что журналистка «умеет задавать вопросы», и объяснял этим всё. — Понедельник поеду туда с утра, опять. Может, на этот раз веник пропустит что-нибудь.

— Поедешь — завтракай плотнее, — сказала Ваньжу и положила ему в тарелку лучший кусок рыбы. — Ты в прошлый раз до трёх там бродил и вернулся голодный.

Телефон Ваньжу завибрировал у неё в кармане — коротко, один раз. Она не достала его. Она продолжала смотреть на мужа, слушать его историю про то, как стажёр сегодня перепутал двери и вошёл на совещание к начальству с чьим-то чаем в руке, и смеялась вместе со всеми — вовремя, звонко, с запрокинутой головой. Телефон она прочитает потом, на кухне, за закрытой дверью. А пока над столом стоял тёплый желтоватый свет, дымился мапо-тофу, и её семья — оба её человека, большой наивный и маленькая опасная — сидела рядом, целая, и ела то, что она приготовила.

Цзинлэй наблюдала за родителями поверх чашки. Она видела, как отец, рассказывая, машет палочками; как мать смеётся чуть громче, чем требует шутка, — ровно настолько, чтобы муж чувствовал себя лучшим рассказчиком на свете; как рука матери снова ложится на его рукав. Она видела это каждый вечер на протяжении двадцати лет. Дома отец был другим, чем на работе, — она знала это со слов его коллег, которые звонили ему и сразу переходили на другой голос. А мать дома была другой, чем всюду. Только Цзинлэй оставалась одинаковой — за этим столом и за столом на складе, с чашкой кофе и со скальпелем в руке. Иногда ей приходила мысль, что она единственный честный человек в этой столовой: она хотя бы не притворялась, что умеет быть другой.

— Дочь, ты чего задумалась? — окликнул её Чжэньхэ. — Доедай, остынет. Завтра тяжёлый день, ты же к девяти в клинику?

— К девяти, — согласилась Цзинлэй и доела тофу.

Уже над чаем — отцовским, зелёным, который она принципиально игнорировала, держа вместо чашки стакан с водой, — Чжэньхэ вспомнил про календарь.

— Ваньжу. В субботу же у твоего отца… — он заглянул в телефон, — так, семидесятый. Юбилей, между прочим. Ресторан заказали?

— Заказали ещё в марте, — сказала Ваньжу. — «Нефритовый двор», отдельный зал, тридцать персон. Меню согласовано, музыканты будут, тамада — не будет, отец терпеть не может тамад. — Она говорила это тоном дочери, которая знает своего отца до последней пуговицы, и не солгала ни в одном слове. Линь Чуншань действительно терпеть не мог тамад: он вообще не любил людей, которые говорят громче него.

— Тридцать персон! — Чжэньхэ присвистнул. — Опять весь его «бизнес-клуб»? Помнишь прошлый год — этот, как его, в лиловом пиджаке, который всем руки тряс и спрашивал, не продаю ли я информацию?

— Миндао, — подсказала Ваньжу ровно.

— Чжао Миндао, точно! — Чжэньхэ хлопнул себя по колену. — Странный тип. Смеётся громко, а глаза — как у моих подследственных, которые наняли хорошего адвоката. Ты скажи отцу, пусть меня с ним за один стол не сажают в этом году. Я от него устаю.

Цзинлэй, сидевшая со стаканом воды напротив матери, сделала глоток. Очень медленный. В столовой стоял тёплый свет, отец смеялся над собственной шуткой, мать улыбалась и говорила «хорошо, скажу», и никто из них двоих — ни отец, ни мать — не смотрел в эту секунду на дочь. Что было, пожалуй, к лучшему. Потому что даже у неё, с её двадцатилетней тренировкой, лицо на секунду стало совершенно чистым — как стол после работы, вымытый и продезинфицированный.

Человек, который сегодня ночью прислал ей труп со вшитой флешкой, в субботу будет пить здоровье её деда за соседним столиком. А её отец просит посадить его подальше.

— Что-то случилось? — спросила Ваньжу, когда Чжэньхэ ушёл к телевизору. Она задержалась у стола, собирая чашки, и спросила тихо, не глядя на дочь.

— Нет, — сказала Цзинлэй. — Просто представила дяденьку в лиловом пиджаке.

Мать посмотрела на неё поверх очков — быстро, оценивающе, — и отвернулась к посудомоечной машине. Ничего не сказала. Цзинлэй тоже. В этой семье умели не говорить так, что не сказанное звучало громче речи: она выросла среди таких пауз и читала их свободнее, чем книги. Эта пауза означала: завтра поговорим. И они поговорили — но уже ночью, и не о лиловом пиджаке.

Ваньжу пришла к дочери в начале первого.

Цзинлэй не спала — она сидела на балконе второго этажа с чашкой остывающего кофе и смотрела на сад, где садовник за день до этого подстриг кусты, и срезы на ветках ещё белели

в темноте. Дверь балкона открылась без стука. В этом доме только один человек имел право входить к ней без стука, и Цзинлэй не повернула головы.

Ваньжу села на второй стул. Она успела переодеться в домашнее, но волосы не распустила, и очки не сняла — значит, пришла не спать, а работать. В руке у неё был тонкий картонный конверт. Она положила его на столик между ними, рядом с чашкой дочери.

— Прочитала? — спросила Цзинлэй. Про сообщение она не спрашивала. Про то, что сообщение было, тоже.

— Прочитала. — Ваньжу смотрела в сад, не на дочь. — Это от отца. Приказ.

В саду шевельнулся ветер, и платан у забора качнул листвой. Цзинлэй не тронула конверт.

— Говори.

— С завтрашнего дня ты работаешь в отделе твоего отца. Официально — судебно-медицинский эксперт. Отделение при управлении, контракт через кадровое агентство, дипломы сделаны в прошлом году, в базе они лежат уже восемь месяцев, проверка выдержит любую, кроме поездки в сам университет. Капитан Вэй подпишет твоё назначение завтра в десять, не задавая вопросов. — Ваньжу говорила ровно, как читают протокол. — Он должен клану. Много и давно.

— А неофициально?

— Неофициально ты там чистильщик. Дело о пропавших в порту — это наше. Двое из трёх — люди клана, и тела там, где их никто не найдёт. Но неделю назад наш костоправ попал в объектив камеры на восьмом причале. Запись мы достали и уничтожили, только твой отец успел её посмотреть. Он не знает, что видел, — но он ищет. Он упрямый, ты знаешь. Он будет идти до конца. — Ваньжу впервые за разговор повернулась к дочери. — Отец хочет глаза и руки внутри этого дела. Ты будешь читать всё, что читает он. Ты будешь первой у всех тел, которые ещё всплывут. Если нить повернёт к Хэйфан — ты её перерезаешь до лаборатории, до экспертизы, до всего.

Цзинлэй молчала. Она смотрела на тёмный сад, и в голове у неё раскладывалась не обида и не страх — раскладывалась сетка: график отца, доступ к делам, лаборатория, образцы, журнал поступления улик, кто подписывает, кто дублирует, где архив. Сетка была большой и холодной, и место для отца в ней оказалось там же, где место всех остальных, — в графе «риски».

— Он же меня знает, — сказала она наконец. Не «папа». Он. — Двадцать лет знает. Я не актриса.

— Ты актриса с рождения, — ответила Ваньжу без улыбки. — Ты у меня двадцать лет играешь нормальную девочку, и ни разу, ни на минуту, не вышла из роли. Справишься.

Цзинлэй чуть повела плечом — жест, который у неё означал согласие. Она взяла конверт, вскрыла, пробежала глазами бумаги: контракт, диплом, характеристика, направление. Печати стояли правильные. Подписи — тоже. Хорошая работа, не клановая, а настоящая, документная.

Но прежде чем вернуть конверт, она сказала — не торопясь, разделяя пункты, как разделяет стежки:

— У меня условия. Запиши, если боишься забыть.

Ваньжу не пошевелилась. Она не собиралась ничего записывать, и дочь знала это: у них обеих была память, за которую не нужно извиняться.

— Первое. Клиника остаётся. Отдел — это день, но ночи мои. Сяо Мэй справится с приёмом, тяжёлых будут привозить ко мне по вызову. Для полиции я врач-эксперт, для клана — хирург, и ни одна из этих половин не должна узнать, что вторая существует. Второе. Лихэ и Сяо Мэй — мои. Их не трогают, их не проверяют, им не поручают ничего через мою голову. Кто хочет поговорить с ними — говорит со мной. Третье. Меня не вызывают на объекты в рабочие часы отдела и не ставят рядом с делом отца на местах. Одно пересечение — и вся конструкция

ломается, а ломать её будете не вы, а он, сам того не желая. Четвёртое. — Она помолчала. — Я хочу знать, что говорит Сун. Не всё — только то, что касается отдела и дела о порте. Если по моему направлению идёт ветер, я должна чувствовать его первой, а не последней.

Ваньжу слушала, сложив руки на коленях. Когда дочь закончила, она сказала:

— Ты торгуешься с отцом.

— Я торгуюсь с тобой, — ответила Цзинлэй. — С отцом торгуюсь через тебя, как ты торгуешься с ним через Суна. Так у нас всё устроено, и это удобно, и давай не будем делать вид, что это оскорбительно.

В саду капнуло — одна капля с платана на железный лист навеса, потом ещё одна. Ваньжу смотрела на дочь долго, и в этом взгляде не было материнского — во всяком случае, не только материнского. Был расчёт: холодный, аккуратный, уважительный. Она родила этого человека, вырастила его, четыре года водила за руку к этому балкону и этой минуте — и теперь впервые сидела с ним за одним столом не как мать, а как старший партнёр, которому называют цену. Цена была честной.

— Сяо Мэй и Лихэ — твои, — сказала она наконец. — Клиника — твоя. Объектов в дневные часы не будет. А Сун… — она поправила очки. — Сун тебе ничего не должен. Но я тебе скажу, что он говорит. Через меня.Этого хватит.

— Хватит, — согласилась Цзинлэй.

— Скажи отцу, что я согласна, — сказала она и вернула бумаги в конверт. — Завтра в девять я буду у капитана Вэя.

— Отец думает, что это его ход. — Ваньжу поднялась. Она стояла над дочерью, и свет из комнаты ложился ей на очки, и на секунду стекла стали белыми, непрозрачными. — Пусть думает. Но ты слушай меня, а не его. Его отдел, его дело, его правила — это теперь наше. Через тебя я буду держать этот отдел в руке. Когда-нибудь клану понадобится не дочь главы, а наследница. И она у него будет — с полицейским отделом в кармане.

Она протянула руку и поправила дочери воротник — жест странный, нелепый на балконе в полночь, оставшийся у неё с тех лет, когда Цзинлэй носила школьную форму. Пальцы у неё были тёплые.

— Не подведи меня, — сказала Ваньжу тихо. — Не его. Меня.

Она ушла так же, как пришла, — без стука, босиком по паркету, неслышно. Цзинлэй осталась на балконе одна. Допила остывший кофе, поморщилась — холодный кофе она не любила, но выливать было жалко, — и долго смотрела на белые срезы веток в темноте.

Завтра в девять её отец увидит её в своём отделе. Он удивится. Потом обрадуется — она знала, как он обрадуется: он будет ходить по кабинетам и говорить всем «это моя дочь», и весь день будет светиться. И ни разу — ни разу в жизни — ему не придёт в голову спросить, почему дочь сидит именно здесь, именно теперь, именно в деле, которое он не может закрыть.

Это было самое полезное свойство её отца. И единственное, за которое она ему иногда — очень редко, коротко — была благодарна.

Утром она собиралась дольше обычного.

Катана осталась дома — легла в длинный ящик шкафа, на тёмный шёлк, рядом с запасными ножнами. Вместо неё Цзинлэй надела то, что должна была надевать эксперт Линь: чёрные брюки со стрелкой, тёмно-красную рубашку — привычную, своё, — и тот же длинный чёрный пиджак с алой вышивкой по борту. Она подумала и сменила ботильоны на туфли с каблуком пониже: по лестницам управления придётся ходить много, а у эксперта Линь нет привычки шлёпать. В зеркале смотрела на неё та же девушка, что вчера сидела напротив Гао Фэя, — только без меча в руках. Разница получалась смешная, почти несерьёзная: снаряжение чистильщика от снаряжения судмедэксперта отличалось одним предметом одежды и одним лежащим дома ящиком.

За завтраком Ваньжу молча подложила ей яичницу с перцем и молча же забрала у мужа чайник, когда тот попытался налить дочери чай «на дорожку». А когда Чжэньхэ вышел за портфелем, поставила перед дочерью тяжёлый стальной термос — матовый, без опознавательных знаков, очень похожий на тот, из которого та пила на складе.

— Капучино. С твоим сиропом, — сказала она тихо. — Дня два продержится, если экономить. Там, внутри, — она имела в виду здание управления, но не стала уточнять: уточнения были не нужны ни ей, ни дочери, — ты никому ничего не должна. Ни объяснений, ни улыбок, ни оправданий. Ты там работаешь, и точка. А если кто-то начнёт копать — ты сначала мне, потом им. В любом порядке, кроме обратного.

— Поняла, — сказала Цзинлэй, убирая термос в сумку.

Ваньжу задержала руку на крышке термоса — на секунду, не дольше.

— И ешь там нормально. В столовой, с людьми. Одиночек запоминают.

Это был лучший совет из всех возможных, и Цзинлэй выполнила его уже через четыре часа, за столом, среди смеющихся людей, с подносом пресной лапши.

— Кофе, — напомнила она.

— Кофе, кофе, — засуетился Чжэньхэ. — Ты сегодня рано. Клиника что, с восьми?

— Не совсем, — сказала Цзинлэй. — Подвезёшь меня? Только не в клинику.

— А куда?

— Увидишь. Сюрприз.

Чжэньхэ любил сюрпризы — чужие, от которых ничего не зависело, — и потому в машине болтал о своём: про стажёра с памяткой, про капитана Вэя, «строгий, но справедливый», про то, что кофемашина в отделе сломалась и жизнь без неё тускла. Цзинлэй смотрела в окно на утренний Шанхай — на бабушек с веерами в сквере, на грузовики, на реку, серую от низкого неба, — и кивала в нужных местах. В голове она уже проходила план здания: сектор экспертизы, первый этаж; лаборатория, подвал; секционная, подвал; архив, второй; кабинет отца, третий, угол слева от лестницы. Она знала этот план наизусть ещё с прошлой ночи, когда читала бумаги из конверта. Теперь ей предстояло узнать всё, чего на плане не было: кто к кому ходит, кто кому должен, кто разговаривает по телефону, выходя в коридор.

Управление встретило их запахом — бумагой, пылью, кофейной гарью и хлоркой из женской уборной у лестницы; этот запах Цзинлэй записала в память первым, потому что запахи она записывала всегда первыми. На проходной Чжэньхэ показал своё удостоверение и махнул на дочь: «Моя. Оформляем». Дежурный, старый сержант с газетой, кивнул ей как родной — все в этом здании, выяснилось, знали, что у Чжэньхэ дочь-врач, и знали давно, лет десять, и относились к ней заранее тепло, как относятся к персонажу любимого анекдота, который вдруг вошёл в дверь. Её сфотографировали, выдали временный пропуск с розовой полосой и сказали, что постоянный будет к пятнице. Розовая полоса означала: везде можно, кроме оружейной. Ей и не нужно было в оружейную. Ей нужно было в подвал, на первый этаж и в архив — и всё это лежало по другую сторону розовой полосы, в разрешённом.

У входа в сектор Чжэньхэ вдруг остановился и посмотрел на дочь внимательно — так внимательно, как умел, когда хотел.

— Слушай, — сказал он негромко. — Тут внутри бывает тяжело. Ты врач, ты к мёртвым привычная, я знаю. Но у нас мёртвые — чужие. С историями. Если что — я на третьем этаже. Всегда.

— Знаю, пап, — сказала Цзинлэй. — Идём, опоздаем.

Капитан Вэй принял её в кабинете с окнами во двор, где сотрудники летом играли в бадминтон. Он был сухой, узкий в кости человек с аккуратными руками бухгалтера; подписывая её документы, он не поднял глаз ни разу, и в этом неподъёме глаз было больше уважения, чем в любых словах.

— Ваше рабочее место в секторе экспертизы, на первом этаже. Лаборатория в подвале, там же секционная. Ментор — старший эксперт Цяо, он в отпуске до пятницы, так что неделю будете осваиваться сами. Вопросы?

— Нет, — сказала Цзинлэй.

— Тогда… — Вэй впервые посмотрел на неё, быстро, вскользь, и отвёл глаза. — Добро пожаловать в отдел, эксперт Линь.

Отец увидел её у входа в сектор, с картонным стаканом кофе в одной руке и папкой под мышкой, — и остановился как вкопанный посреди коридора, так что стажёр с ламинированной памяткой налетел на него сзади.

— Цзинлэй? — сказал Чжэньхэ. — Ты что здесь… ты заблудилась? Клиника же…

— Я больше не в клинике, пап. — Она показала ему удостоверение в новенькой корочке. — Эксперт Линь. Сегодня первый день. Ваш отдел, ваше направление. Сюрприз.

Чжэньхэ смотрел на корочку, потом на дочь, потом опять на корочку — и лицо у него начало расплываться в улыбку, такую широкую, что скулы, наверное, заболели.

— Ты — ко мне? В мой отдел?! Ваньжу! — обернулся он, будто жена могла оказаться тут же, в коридоре. — Ваньжу знает?!

— Знает с вечера. А тебе мы решили сделать сюрприз. Ты же любишь сюрпризы.

— Вот зараза, — сказал Чжэньхэ с огромной любовью — неизвестно, к кому из двоих, — и обнял дочь прямо посреди коридора, при всех, крепко, по-медвежьи, чуть не опрокинув её кофе. — Слушайте все! — объявил он коридору. — Это моя дочь! Новый эксперт! Настоящий врач, между прочим, она людей зашивает с шестнадцати лет!

По коридору заулыбались. Кто-то поаплодировал, в основном чтобы порадовать Чжэньхэ, — его все в отделе любили за это вот умение радоваться за двоих. Цзинлэй стояла в отцовских объятиях, смотрела поверх его плеча на ряды столов, на доску с фотографиями дел, на дверь с табличкой «Лаборатория», и улыбалась ровно настолько, насколько полагалось улыбаться дочери, которую обнимает отец.

На доске, третьим слева, висела схема причалов. Красная нить от восьмого причала тянулась к фотографии склада.

Цзинлэй запомнила расположение всех нитей — всех, до одной, — за те три секунды, что отец держал её в объятиях.

Потом он отпустил её, взъерошил ей волосы, как в детстве, и повёл знакомиться с отделом — с тем самым отделом, который с этого утра перестал быть для клана Хэйфан тёмным лесом.

Обход занял час. Чжэньхэ водил её от стола к столу, называл имена, хвастался ею так, будто она выиграла что-то большое, а не просто сменила один подвал на другой. Стажёр Цзя Лэ — тот самый, с ламинированной памяткой, который утром налетел на Чжэньхэ в коридоре, — поклонился ей дважды и, получив в ответ ровный кивок, остался стоять с выражением человека, получившего визу в другую страну. Старший криминалист Цинь, человек с усталыми глазами и руками, которые он никогда не снимал с рабочего стола без перчаток, оглядел её кисти и сказал: «Хорошие пальцы. Длинные. Для сечения самое то», — и это был единственный комплимент за утро, который она забрала с собой. В лаборатории пахло формалином и кофе — чужим, дешёвым, из автомата, и она мысленно записала: принести свою кофемолку, отцовская сломана, автоматная гарь запахнет на вещдоках, а запахи имеют свойство прилипать.

Она запомнила всё. Это была её главная работа в тот день, хотя числилась она совсем другой: запомнить. Двадцать семь человек в отделе, и у каждого — по карточке, которую она заполняла мысленно, мимоходом, между рукопожатиями. Кто говорит слишком громко — такие выдают секреты в курилке, полезно. Кто смотрит на неё слишком долго — таких трое, и одного из них, опера по фамилии Дэн, с редкими волосами и привычкой держать руки в карманах, она пометила особо: Дэн смотрел не как мужчина на девушку и не как коллега на новичка, а как счетовод на новую строку в книге, — прикидывал, куда её записать. Кто в отпуске, кто на

больничном, у кого рабочий стол завален, а у кого пуст, — пустой стол у следователя означает либо лень, либо аккуратность хищника, и вторых в отделе было двое. У кого на мониторе приклеена фотография детей, а у кого — наклейка футбольного клуба. Кто здоровается с отцом запанибрата — этих много, отца тут любили, и эта любовь была её первым и главным прикрытием, укрытием шире любого плаща: дочери любимца прощают и молодость, и молчание, и странности, если они будут.

Рабочее место ей досталось у окна — третий стол от двери, спиной к стене, лицом к комнате, и она отметила это как удачу, хотя удача тут была ни при чём: стол у окна и со спиной к стене в любом отделе достаётся по старшинству или по протекции, и кто-то в кадрах — за чьи-то деньги, не обязательно клановые, — распределил её правильно. Она проверила ящики стола. Левый верхний заклинивал, правый нижний не закрывался совсем; замок на среднем — хлипкий, открываемый скрепкой за четыре секунды, она мысленно засекла три, но на людях трогать не стала. В замке она ничего хранить не будет вообще, а в заклинившем — самое неинтересное: пусть тот, кто полезет, найдёт кофемолку и запасной сироп. Камеры в секторе висели две: одна над входом, вторая в дальнем углу, и обе смотрели так, как вешают камеры люди, которым важно не наблюдать, а отчитываться, что наблюдают. Слепых зон было четыре. Одна — у её стола. Кто-то очень постарался, и она записала этот факт в ту же графу, что и стол у окна: клан, оказывается, готовил её приход не восемь месяцев, а дольше.

В самом конце её спустили в подвал, в секционную. Холодный белый свет, кафель, стол со сливом, шкаф с инструментами, на дверце которого висел перечень в мелкий шрифт. На крючке у входа висел белый халат — новый, с биркой, подготовленный под неё. Цзинлэй сняла его с крючка, подержала на ладони. Халат был из плотной ткани, с высоким воротом, ничем не отличался от её домашнего, клинического, — только карманы располагались чуть ниже.

— Вот твоё главное место, — сказал отец с гордостью человека, вручающего ключи от дома. — Секционная. Вся наука — здесь.

Она повесила халат обратно на крючок. Выровняла по плечику.

— Красиво, — сказала она.

И это была первая ложь, сказанная ею в этом здании вслух.

Перед ланчем успела случиться и первая служебная мелочь: ей выдали инструментарий.

Выдавала его кладовщица из подвала, немолодая женщина в синем халате. Она сняла с полки металлический кейс, не открывавшийся, судя по пыли, лет пять, и поставила на стол с выражением нотариуса, вручающего завещание. Кейс был стандартный, казённый: два скальпеля со сменными лезвиями, зонд, ножницы кишечные и костные, пинцеты, пила, крючок, рулетка. Рядом стоял второй кейс, потёртый, — комплект прежнего эксперта, того самого Цяо, который ушёл в отпуск, — и Цзинлэй проверила оба. Проверяла она так, как проверяла всегда: не глазами — пальцами. Лезвие провела вдоль подушечки большого пальца, не нажимая; зонд согнула чуть-чуть, слушая металл; ножницы раскрыла и закрыла три раза, медленно.

Из казённого комплекта годным оказалось ровно половина. Один скальпель затупился так, что резал бы, как ручка чайной ложки; у костных ножниц люфтил винт; пила шла волной.

— Заявку на замену оформим к четвергу, — сказала кладовщица, не обидевшись: она видела свои полки и иллюзий не питала. — А пока можете Цяо его вещи брать, он не жадный.

Вещи Цяо были в порядке — человек следил за инструментом, и Цзинлэй мысленно подняла его в своей картотеке на строчку. Его скальпель она взяла себе на неделю, а казённый комплект — весь, целиком — вписала в заявку на замену, с формулировкой «несоответствие режущих кромок эксплуатационным нормам», от которой кладовщица присвистнула и сказала, что так красиво у них ещё никто скальпель не требовал.

— Дома свои есть, — сказала Цзинлэй. — Но на казённой работе положено резать казённым. Так чище.

Это была правда с двойным дном: чистота инструмента — единственный вид чистоты, который она умела гарантировать.

Кладовщица посмотрела на неё долго, потом кивнула — чему-то своему, про новеньких, — и унесла заявку. Цзинлэй осталась в подвале и заодно проверила морг. Шесть холодильных камер, занято две; пятая камера барахлила — температура внутри гуляла от минус двух до плюс четырёх, и в журнале это не значилось. Она записала и это. Не в журнал — в свою картотеку, в графу «запасное»: поломанная камера, о которой никто не думает, — это ведь тоже ресурс, хотя и не тот, о котором говорят вслух.

Потом она стояла одна среди белого кафеля, с чужим хорошим скальпелем в руке, и впервые за этот день позволила себе что-то похожее на удовлетворение. Рука помнила работу. Инструмент лежал в руке, как влитой. И запах — формалин, хлорка, холод — был ей роднее любых духов.

Вторая и третья прозвучали за ланчем, в столовой на втором этаже, куда отец потащил её в половине первого — «знакомить с главным местом отдела». Столовая была шумная, с длинными столами и запахом пара; за соседним столом двое оперативников спорили о футболе так, будто от результата зависела их пенсия. Чжэньхэ поставил перед дочерью поднос с лапшой, гордо, как ставят награду, и ушёл за своим, а к столу тут же начали подтягиваться люди — из любопытства, из вежливости, из того тихого тщеславия, что движет коллегами, когда у любимца отдела объявляется родня.

— Так ты и есть дочка Чжэньхэ? — Это была следователь средних лет, Су Лань, с короткой стрижкой и манерой говорить, не отнимая ложки ото рта. — Он тебя нам по сто раз на дню цитирует. «А моя дочь говорит». Теперь будем знать, как ты выглядишь, когда он это делает.

— А он много врёт? — спросила Цзинлэй.

— Он? — Су Лань фыркнула. — Он не умеет. Вот в чём проблема твоего отца, девочка: он не умеет врать даже ради дела. Он допрашивает — и верит людям. Люди ему врут — а он верит. Иногда я думаю, он до сих пор в отделе только потому, что врунам с ним неловко. Совесть просыпается.

— Это не проблема, — сказал подошедший с подносом старший криминалист Цинь, усаживаясь. — Это стратегия. Люди, которым верят, расслабляются. Расслабленные люди ошибаются. Чжэньхэ за двадцать лет собрал урожай чужих ошибок больше, чем иной за карьеру. — Он повернулся к Цзинлэй. — Ты где училась-то, эксперт Линь?

— Медицинский, хирургия. Потом частная практика, своя клиника, два года. — Цифры легли ровно, как лежали в досье, которое восемь месяцев ждало своего часа в базе кадрового агентства. — Травматология в основном. Порезы, переломы. Решила, что хочу работать там, где пациенты не выписываются сами по-английски, не заплатив.

Цинь хмыкнул одобрительно — врачебный юмор он уважал.

— А к нам как?

— Папа давно звал, — сказала она, и это была уже четвёртая, самая вкусная ложь дня: простая, тёплая, недоказуемая. — А тут мама сказала: иди, пока он совсем без присмотра. Я и пошла.

За столом засмеялись. Чжэньхэ, вернувшийся как раз к смеху, потребовал рассказать, над чем, — и ему рассказали, и он покраснел от удовольствия, и половина стола смотрела на это с умилением, а вторая половина — с завистью: у них таких дочерей не было. Цзинлэй ела лапшу — пресную, столовскую, без единой перчинки, — и подмечала, как работает комната. Кто смеётся искренне, а кто смотрит, смеются ли другие. Кто спросил про клинику дважды, уточняя район, — опер Дэн, конечно, Дэн; она ответила район, но не переулок, и он удовлетворился, записав её в какую-то из своих внутренних граф. Кто принёс ей стакан чая, который она вежливо отодвинула, сославшись на то, что пьёт только кофе, — и Су Лань тут же,

с идиотским энтузиазмом хорошего человека, пообещала показать, «где тут у нас настоящая кофемашина, не та, что у следователей сломана».

— У отца сломана, — подтвердила Цзинлэй. — Я в курсе. Он мне в машине всю дорогу жаловался.

— Он тебе всю дорогу жаловался? — Су Лань покачала головой. — Девочка, да он нам два года жалуется. Два года мы эту машину слушаем! Ты хоть почини её, а? Ты ж врач!

— Машинам не шью, — ответила Цзинлэй. — У них нет пульса, а без пульса мне скучно.

И стол смеялся уже ей — не отцу, ей, — и она отметила это без удовольствия и без тревоги, как отмечают, что инструмент лёг в руку удобно. К концу дня счёт лжи пошёл на десятки, и ни одна из них не дрогнула у неё на губах.

После ланча она попросилась в архив — «ознакомиться с текущими», как положено новому эксперту, и архивариус, дряхлый человек по фамилии Гун, выдал ей пропуск с таким видом, будто делал это в последний раз в жизни и ему было всё равно. Дело о пропавших в порту лежало в трёх папках, красных, с наклейками, и она читала его два часа, медленно, от корки до корки, — читала так, как не читает никто из тех, кто просто работает: не ища ответ, а запоминая вопросы.

По полям папок шёл карандашный почерк её отца — она узнала его с первой страницы, с первого росчерка: летящий, неровный, с восклицательными знаками там, где у других стоят вопросительные. «Машина чистая?! В порту?!» — на полях схемы стоянки. «Поговорить с сестрой ещё раз — мягко, она боится» — на полях допроса родственницы Юй Фань. «Что я упускаю?» — на отдельном листе, вложенном между папками, и под этой фразой — три подчёркивания, третье такое сильное, что карандаш продавил бумагу. Рядом с распечаткой записи с камеры восьмого причала — короткое, без восклицаний: «Высокий. Капюшон. Руководит. Не носит — командует». Цзинлэй провела пальцем по этой строчке, не касаясь бумаги. Вот как её отец выглядел изнутри своего дела: не громкий, не весёлый, не тот, что за ужином. Вот этот — другой. Внимательный. Дотошный. Записывающий карандашом на полях то, что потом окажется правдой, — «не носит, командует» было чистой правдой о человеке, которого клан ещё не нашёл. Она читала эти пометки, и ей было слышно в них голос отца, и голос этот ничего не обвинял, он просто искал. Вот что было в них самое тяжёлое: он искал не её. Он искал правду, а правда и она сидели на одном стуле.

Трое пропавших. Грузчик Мао Цзянь, сорок один год, пропал в апреле между сменой и домом; диспетчер Юй Фань, двадцать восемь, не вышла на смену в мае; перевозчик Лю Чэнь, тридцать пять, исчез в июне вместе с машиной — машина нашлась через неделю на стоянке у аэропорта, чистая, с заправленным баком, «что само по себе криминально», как приписал карандашом на полях её отец. Все трое — по бумагам — люди маленькие, без связей, без врагов, без долгов. Цзинлэй знала, что двое из трёх — Мао Цзянь и Лю Чэнь — люди клана, внешнее кольцо, низовые. Она не знала этого по папкам. Она знала это по складу в Баошане, где третьего не было только потому, что третий оказался честным: Юй Фань, диспетчер, действительно была ничьим человеком, случайной, увидевшей то, что не должна была видеть из окна своего диспетчерского будка. Такие были самые жалкие в этой арифметике — случайные. За них даже некому было взывать.

Её отец искал их всех троих с одинаковым упорством. Вот что было хуже всего. Он не разделял людей на клановских и случайных, не умел и не хотел, и потому шёл по всем нитям сразу, а одна из нитей — красная, толстая — вела прямиком в дом, где он ел каждый вечер свой ужин.

К половине четвёртого в морг привезли тело.

Об этом ей сообщил Цзя Лэ — вбежал в сектор с папкой и с совершенно счастливым лицом человека, у которого впервые в жизни есть дело до взрослого эксперта: утопленник, выловлен у шестого причала в полдень, рыбаки с буксира, полиция порта передала им, потому

что на теле «что-то странное» и районные не хотят возиться. Старший эксперт Цяо был в отпуске. Дежурный криминалист Цинь занят взрывом в другом районе. Так что утопленник достался ей, новенькой, в первый же день — и Цзя Лэ, не подозревающий, что дарит судьбу судьбе, сиял, пока вёл её по лестнице в подвал.

Тело лежало на каталке в предбоксе, ждало. Мужчина, лет пятидесяти, крупный, раздутый водой, в рабочей робе без опознавательных. Цзинлэй надела халат — тот самый, новый, с крючка у входа, — перчатки, маску, и подошла, и начала осмотр с того, с чего начинала всегда: с рук.

Странное нашлось сразу. Под мышкой, высоко, там, где обычно не смотрят, — ожоговая метка, старая, не свежая: клеймо, выжженное лет десять назад, маленький иероглиф, который она знала. Его знала вся набережная, хотя на набережной о нём не говорили. Так клеймили людей внешнего кольца Хэйфан в те годы, когда её дед ещё сам бывал в порту.

Она смотрела на клеймо секунды три. Цзя Лэ ждал за спиной с блокнотом наизготовку.

— Ну? — не выдержал он. — Что там?

— Пигментация, — сказала Цзинлэй. — Старая. Записывай: особых примет нет.

Она работала тщательно, медленно, по протоколу, — и протокол вышел безупречным: утопление, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, травмы — посмертные, характерные для портовых вод, багры и тросы. Всё правда. Каждое слово — правда. Клеймо не было ложью: оно просто не было упомянуто, а неупомянутое не врёт, оно молчит, и молчание не фальсифицируют в суде. Когда она закончила, накинула на тело простыню и сняла маску, в предбоксе было уже темно от приближающегося вечера, и Цзя Лэ, стуча карандашом по блокноту, сказал с восторгом:

— А вы быстро, эксперт Линь! И аккуратно! Мне Цинь говорил, хороший эксперт — это который ничего не придумывает. Вы прямо вообще ничего не придумываете!

— Спасибо, Цзя Лэ, — сказала Цзинлэй, развязывая халат. — Иди печатай заключение. Я помою руки.

Она мыла руки долго, хотя работала в перчатках и кожа была чистой. Потом сфотографировала клеймо — не телефоном: телефон эксперта это улика, которая ходит за тобой, — а мысленно, три раза, со всех сторон, навсегда. Вечером Сун получит и это.

Наверху, в секторе, уже почти никого не было — рабочий день следователей заканчивался позже, чем у экспертов, но сегодня отдел выдохся рано. У доски со схемой причалов стоял опер Дэн. Он стоял боком к двери и переписывал схему в блокнот — не в рабочий протокол, а в свой, маленький, в клеточку, в коричневом кожзаме. Переписывал аккуратно, нить за нитью.

Цзинлэй вошла не тише, чем входят все. Дэн не вздрогнул — люди, которые вздрагивают, не переписывают чужие доски, — он просто закрыл блокнот, не торопясь, и обернулся.

— Эксперт Линь. Ещё не ушли? Первый день, а уже засиживаетесь. Это правильно. Это по-нашему.

— Заключение допечатывают, — сказала она. — Цзя Лэ старается.

— Цзя Лэ старается, это верно. — Дэн улыбнулся, и улыбка его была как его волосы: редкая и неубедительная. — Я слышал, вам утопленника принесли. С причала. Что там было странного-то? Районные же не просто так отказались.

— Пигментация под мышкой. Старая. Районные испугались татуировки, а это оказалась родинка размером с монету. — Она пожала плечами. — Бывает. В порту вода грязная, на телах после двух суток в воде мало что читается.

— Двух суток? — Дэн чуть наклонил голову. — А вы откуда знаете, что двух? В заключении же ещё ничего нет.

— По состоянию тканей, — сказала Цзинлэй ровно. — Это первая страница любого учебника, Дэн. Вторая, кстати, интереснее: там про то, как не задавать эксперту вопросы, на которые уже ответил протокол.

— А клинику свою жалко было бросать? — не сдавался Дэн. — Своя клиника — это же дело, клиенты, два года труда.

— Я её не бросила. Клиника работает, мой ассистент ведёт приём. А мне захотелось посмотреть на работу отца изнутри. Двадцать лет смотрела снаружи — хватит.

— Вот как. Семейное.

— Семейное, — согласилась она.

Дэн засмеялся — коротко, одним носом, — и отошёл от доски, пропуская её к столу.

— Острый язык. Отцовский, — сказал он. — Ладно, эксперт Линь. Добро пожаловать. Тут у нас тихо, но мы люди наблюдательные.

— Я тоже, — сказала Цзинлэй.

Она собрала термос и сумку, не торопясь, и вышла, чувствуя лопатками его взгляд — взгляд счетовода, который получил новую строку и не знал пока, в приход её ставить или в расход. В голове она открыла карточку Дэна и дописала три строки: имеет собственную ведомость по делу порта; работает за пределами инструкций; вопрос про двое суток — не любопытство, а проверка. И ещё она запомнила блокнот. Коричневый кожзам, мелкий почерк, нити, переписанные с доски от первой до последней. Дэн вёл собственную схему — а это значило, что в отделе, кроме отца, был ещё один человек, который шёл по делу порта не по инструкции, а по вере. С такими сложнее всего: их нельзя ни подкупить, ни отвести, их можно только опередить.

К вечеру господин Сун получил короткое сообщение: «Заступила. Доступ есть. Нитей на доске шесть, одна ведёт к складу. Займусь. Сегодня в морг привезли утопленника с шестого причала — наш, внешнее кольцо, клеймо старое. Закрыла как утопление без примет. Проверьте, кто из своих пропал в июне».

А из окна кабинета третьего этажа Линь Чжэньхэ смотрел, как его дочь с сумкой и термосом идёт через двор к воротам, и думал, что это, наверное, лучший день за последние годы. Он даже позвонил жене и сказал: «У нас всё получилось, Ваньжу. Вся семья теперь при деле».

Ваньжу, стоявшая в этот момент в другом кабинете, в другом здании, перед окном во всю стену, согласилась с ним тихо и вежливо. Потом положила трубку и долго смотрела на город, решая, сколько времени у её семьи осталось до того дня, когда эта фраза перестанет быть правдой, — и что она сделает, чтобы такой день не наступил никогда.

Второй звонок пришёл в десятом часу, на другой телефон — тот, что лежал в ящике стола, в отделении, обитом свинцовой фольгой, глушившей любой сигнал, пока ящик закрыт. Звонил Сун. Сун никогда не здоровался.

— Счёт в Макао настоящий. Деньги переведены, счёт закрыт, как вы и велели. По чайной на Юньнаньской: объект подтверждён, «Цапля» бывает по средам, к среде подготовим встречу. — Пауза, шорох бумаги: даже Сун, цифровой человек, докладывал по бумажным сводкам, потому что бумагу можно сжечь. — По почтальону. Плёнку показали старшим. Опознали: Хань Цзюнь, пятьдесят один год, счетовод, при Чжао Миндао с самого начала, с ножевых времён. Месяц назад Чжао объявил, что Хань Цзюнь уехал лечиться в Сингапур. Лечился, значит.

— А флешка?

— Расшифровывают. Там много. Говорят — книги. — Сун помолчал, и в этой паузе Ваньжу услышала то, что он не сказал: если там книги Чжао за двадцать лет, то почтальон стоил того, что с ним сделали, и «небольшая просьба» на карточке была не просьбой, а авансом за очень большую услугу. — И последнее. Ваша дочь сообщила про утопленника с шестого причала. Проверили: в июне из внешнего кольца пропал один. Жэнь Дагуан, пятьдесят два года, работал на складах у пятого и шестого причалов. Клеймо — его годы, совпадает. Родни нет, взывать некому. Что делать с именем?

Ваньжу смотрела на город. Внизу, за стеклом, по набережной ползли огни, и где-то среди них была машина её мужа, который в этот час, скорее всего, уже чистил зубы и напевал.

— Имя оставить мёртвым, — сказала она. — Заключение моей дочери не трогать, оно правильное. Разузнайте, когда Жэнь видели последний раз и кто из своих тогда дежурил на шестом. Если из наших — я хочу знать имя до рассвета.

— Будет сделано, — сказал Сун и отключился, не прощаясь. Он никогда не прощался.

Ваньжу положила телефон обратно в свинцовый ящик и закрыла его. За один вечер её дочь в новом кресле сделала больше, чем все подкупленные люди клана в полиции за год, — и сделала это в первый же день, аккуратно, без единой ошибки. По этому поводу следовало бы что-нибудь почувствовать. Гордость, например. Ваньжу попыталась и обнаружила, что чувствует другое: лёгкий холодок, похожий на тот, что бывает, когда смотришь вниз с большой высоты. Она вырастила это. Оно сидело теперь в отделе её мужа, подписывало заключения «эксперт Линь» и вело свою игру — и Ваньжу вдруг впервые за двадцать лет подумала, что в этой игре она, возможно, уже не единственный игрок, который ставит на стол семью.

Домой Цзинлэй вернулась к восьми. Ужин прошёл шумно: отец пересказывал всем — включая мать, которая знала всё раньше него, — какой у него теперь «свой человек в секторе экспертизы», и Ваньжу ахала в нужных местах с точностью метронома. Цзинлэй отбилась от расспросов коротко: день как день, люди приятные, лапша пресная. Про утопленника она не сказала. Про утопленника отец узнает завтра из заключения — аккуратного, безупречного заключения, подписанного «эксперт Линь», в котором не будет ни одного ложного слова и ни одного лишнего.

А в одиннадцатом часу, когда дом затих, она достала из ящика шкафа катану.

Уход за клинком был у неё единственной привычкой, которую можно было назвать нежной. Она разложила на столе кусок тёмного шёлка, вынула меч из ножен — сталь вздохнула тем звуком, который бывает только у хорошо посаженного клинка, — и начала: бумага, тряпица, тюбик с маслом, тонкий слой, от пятки к острию, в одну сторону, никогда в обратную. Клинок был старый, работы ещё довоенной, подарок деда на восемнадцатилетие — в тот самый день рождения, когда мать рассказала ей правду; дед подарков своих не объяснял, но этот не нуждался в объяснениях. Клан дарил внучке не украшение. Клан дарил ей место.

Она вела тряпицей вдоль стали и думала о том, какой странной была арифметика этого дня. Утром — склад, человек на стуле, её голос: «Избавьтесь от него». Днём — клиника, чужой труп, её пальцы в чужой брюшной полости. Вечером — управление, заключение об утоплении, её подпись под словами «особых примет нет». Три рабочих места за одни сутки, и на каждом она делала ровно одно и то же: решала, что останется видимым, а что нет. Скальпель и клинок были для этого одинаково хороши. Разница между ними была только в том, что после клинка вопросов не задавали никогда, а после скальпеля — задавали, и чем лучше была сшита работа, тем меньше вопросов.

Она закончила, подняла клинок на вытянутых руках и посмотрела вдоль него, как смотрят по линейке: ровно. Блик лампы пробежал от гарды к острию и сорвался в темноту. Где-то там, в этой темноте, уже лежали нити следующих дней: счёт в Макао, который Сун проверит к полудню; человек по кличке Цапля в чайной на Юньнаньской дороге; утопленник с клеймом под мышкой, чьё имя клан ещё не знал; и отец — её отец, — который завтра утром встанет, поздоровается с ней у кофемашины и пойдёт по своей красной нити дальше, к складу, к причалу, к дому. Ей предстояло бежать по этой нити быстрее него. Всегда на полшага, не больше — на целый шаг вперёд убегают только те, кого потом догоняют.

Она вложила клинок в ножны — тот же вздох, в обратную сторону, — убрала шёлк и масло, заперла ящик. Потом легла, и уснула быстро, и спала без сновидений, как спала всегда,

сколько себя помнила. В доме, где спали её отец и мать, только один человек в эту ночь знал правду обо всех троих — и этот человек спал крепче всех.

Глава 2. Три адреса



Линь Цзинлэй

Пятница началась с запаха жареного арахиса.

Цзинлэй спустилась по лестнице в половине восьмого — выспавшаяся, ровная, с влажными после душа волосами, забранными наверх, — и ещё с площадки второго этажа услышала, как на кухне разговаривают. Отец рассказывал матери про вчерашний день. Она знала это, ещё не видя их: у отца был тот голос, которым люди пересказывают счастливые события во второй раз, — с пропусками, с самоцитированием, с вкраплениями «а потом — представляешь». Мать отвечала редко и коротко, и по этим ответам, по их ритму, Цзинлэй слышала: мать слушает не слова. Мать слушала, что стоит между словами, — так, как сама Цзинлэй слушала пульс.

— ...а она стоит посреди коридора с этой корочкой, — гремел отец, — я вам скажу, я на старости лет чуть не разревелся, как мальчишка. Ваньжу, ты представляешь? Своя дочь — в секторе экспертизы! Цяо вчера из отпуска звонил, я ему говорю: готовься, Цяо, у тебя теперь ученица — моя ученица! Он не поверил. Сказал: «Чжэньхэ, ты с похмелья?»

— А ты что? — спросила мать.

— Я сказал: с похмелья, от счастья! — Чжэньхэ расхохотался собственной шутке так, что стакан на столе звякнул. — Ой. Цзинлэй! Доброе утро, эксперт! Иди сюда, мать оладьи с арахисом сделала, твои любимые.

— Она вчера это уже слышала, — сказала Ваньжу, ставя перед дочерью тарелку. — Ты ей в машине пересказал?

— Не успел, — признался Чжэньхэ. — Она мне всю дорогу про формалин рассказывала. Дочь, у тебя больная фантазия: ты своему отцу за рулём рассказывала, чем пахнет секционная до обеда и после. Я чуть в обед есть не смог.

— Ты съел две порции лапши, — сказала Цзинлэй, садясь. — Я видела.

— Это профессиональное, — отмахнулся он. — Следователь должен есть в любых условиях. Мёртвые не ждут, пока ты пообедаешь. — Он произнёс это тоном человека, повторяющего чужую мудрость, и тут же испортил весь эффект, подмигнув жене: — Это мне мой первый начальник говорил. Хороший был человек, жаль, на пенсию ушёл.

Ваньжу молча поставила рядом с тарелкой дочери стальной термос — тот самый, матовый, — и молча же убрала со стола сахарницу, за которой никто из них двоих не следил. Чайник она убрала ещё раньше: Цзинлэй заметила его на плите, на задней конфорке, в зоне отца.

— Сегодня выезжаем, — сказал Чжэньхэ, и голос у него сменился: из домашнего — в рабочий, на полтона ниже. — Я вчера вечером с сектором говорил, Вэй добро дал. Едем по делу втроём: я, ты, Цзя Лэ. Ты мне нужна как эксперт — посмотришь машину Лю Чэня на стоянке, ту самую, чистую. Я на неё сто раз смотрел, а ты — глаза свежие. Потом заедем к одному человеку. — Он не сказал «к сестре Юй Фань». При матери он никогда не называл имён из дел — это было единственное, в чём он соблюдал тайну следствия дома, и Цзинлэй знала: не потому, что не доверяет жене, а потому, что «зачем ей этот груз за столом». — А потом, если время будет, прокатимся в порт. Я обещал ребятам из портовой полиции заглянуть ещё раз.

— Время будет, — сказала Цзинлэй. — Я сегодня без планов. Цяо же возвращается?

— Возвращается. — Чжэньхэ ухмыльнулся. — Я ему сказал: сиди в лаборатории, мой полы. Он обиделся. У него гордость, как у петуха, — двадцать лет в профессии, а тут новенькая с первого дня утопленника закрыла, да ещё и моя дочь. Он тебя сегодня экзаменовать будет, готовься.

— Пусть, — сказала Цзинлэй и отрезала оладью.

Она ела и слушала отца — он уже перескакивал на субботу, на юбилей, на то, что ему «опять придётся надевать пиджак, который жмёт в плечах», — и мимоходом смотрела на мать.

Ваньжу сегодня собиралась «на работу»: на ней была белая рубашка, на шее — шнурок с удостоверением редакции, того самого, легендарного; пиджак с вышивкой по борту она набросила на спинку стула. Рядовая картина в этом доме — и сегодня Цзинлэй смотрела на неё иначе, чем вчера: вчера она ещё не знала, сколько правды стоит за этим шнурком. Шнурок был настоящий. Редакция существовала. Телефон редакции отвечал, если позвонить. Только статей не было — двадцать два года ни одной строки, и муж ни разу не спросил, где они.

Люди видят то, что ожидают увидеть. Цзинлэй впервые подумала об этом не как о чужой слабости, а как о технологии, которую она унаследовала и в которой жила, как рыба в воде.

— Ты чего такая задумчивая? — окликнул её отец. — Волнуешься? Не волнуйся. Выезд — это не страшно. Страшно — это бумажки. Выезд — это половина удовольствия от работы.

— А вторая половина? — спросила она.

— Вторая половина, — Чжэньхэ поднял палец, — это когда всё сходится. Когда ты ходишь, ходишь, собираешь эти кусочки — и вдруг, раз, они встают друг к другу, и ты видишь картину. Вся картина целиком. Ни один следователь тебе этого не объяснит, а я объясню: это как когда шьёшь. Ты ведь шьёшь — край к краю, стежок к стежку, и в конце рана закрыта, и её больше нет, есть только линия. Вот у нас так же. Только у нас рана — город.

Цзинлэй промолчала. Ваньжу за спиной мужа подняла глаза от чашки и посмотрела на дочь поверх очков — долго, без улыбки. Потом сказала:

— Ешь, пока горячее. Обоим. Выезд выездом, а завтрак по-человечески.

На пороге Ваньжу остановила дочь — рукой, мягко, за рукав, как останавливают, не останавливая.

— Воротник, — сказала она и поправила ей воротник, которому это не требовалось. — Вечером привезут платье. Я заказала твоё, не спрашивай. Ты в нём будешь выглядеть так, что дед промолчит, а это у него высшая оценка.

— Мам, — сказала Цзинлэй.

— Что?

— Ничего. — Она хотела сказать: я знаю, во что ты сегодня одета. Тёмный костюм, булавка, туфли на низком ходу — человек, которому сегодня ходить по своим двум зданиям, а к вечеру сидеть в третьем, без таблички на двери, и слушать, как старики решают, кто в этом городе чего стоит. Но сказала другое: — Спасибо за термос.

— Термос — не за что. — Ваньжу отпустила её рукав. — Слушай отца на выезде. Он умеет то, чему не учат: люди говорят ему правду. — Пауза в полвдоха. — А ты смотри на людей, Цзинлэй. Не только на следы. Следы не стреляют.

— Я знаю.

— Ты всё знаешь, — сказала Ваньжу без укора, почти нежно. — Это твой главный риск.

Она закрыла дверь раньше, чем дочь успела ответить, — она умела закрывать двери так, что последнее слово оставалось за ней. Цзинлэй шла к отцовской машине, повторяла про себя эту фразу и складывала её туда же, где лежали слова Ляо и вчерашние слова отца. «Следы не стреляют». Мать, как всегда, сказала одну вещь, а имела в виду три.



Линь Ваньжу

В управлении её уже ждали — и это было новым, непривычным ощущением: вчерашний день был днём знакомств, сегодняшний начался с того, что у входа в сектор стажёр Цзя Лэ, увидев её, снялся с места, как запевала:

— Эксперт Линь! Доброе утро! Вам пропуск, постоянный, я сам с проходной принёс! — Он протянул ей корочку в прозрачном чехле, на розовой ленте. — И вам Цинь велел передать: вчерашнее заключение по утопленнику он читал, всё в порядке, подписал без вопросов. И ещё капитан Вэй спрашивал, не нужно ли вам что-нибудь для рабочего места, — Цзя Лэ дышал часто, от важности поручений, — а ещё старший эксперт Цяо приехал, он в лаборатории, он велел вас не трогать до десяти, потому что он «наводит порядок после отпуска», а потом он вас сам найдёт.

Цзинлэй приняла пропуск. Весил он меньше вчерашнего, а значил больше: постоянный, с фотографией, с фамилией — «Линь Цзинлэй, судебно-медицинский эксперт». На фотографии она получилась серьёзнее, чем в жизни, — так всегда бывало на документных фото: камера будто знала.

— Спасибо, Цзя Лэ, — сказала она. — Ты сегодня с нами на выезд?

— Да! — Он чуть не подпрыгнул. — Старший Линь сказал — беру стажёра, пусть учится. Я уже блокноты взял, три штуки, и камеру служебную оформил, и планшет для вещдоков…

— Планшет не понадобится, — сказал подошедший Чжэньхэ. — Мы не место происшествия смотрим, мы старую машину смотрим и с людьми разговариваем. Но блокноты пусть будут. Цзинлэй, готова? Выезжаем через десять минут, машина внизу.

У Вэя она подписала последние бумаги — согласие на доступ к архиву и журналу вещдоков. Капитан подписывал встречные, не поднимая головы, и только когда она уже взялась за ручку двери, сказал ей в спину:

— Эксперт Линь. Утопленник вчерашний. Районные спрашивали, кто закрыл. Я сказал: новенький эксперт. Они удивились — говорят, чистая работа. — Пауза. — Продолжайте.

— Хорошо, капитан.

Она вышла. «Районные спрашивали». Это могло быть правдой — а могло быть его способом сказать: я знаю, что за тобой стоит, и я это учёл. Вэй был из тех, кто говорит двумя этажами, и Цзинлэй предпочитала таких всем прочим: с двухэтажными всегда понятно, где лестница.

Она успела заглянуть в лабораторию — на тридцать секунд, не больше.

Старший эксперт Цяо стоял к ней спиной, у стола с реактивами, и не обернулся, хотя она вошла не бесшумно. Он был невысокий, широкий в плечах человек лет пятидесяти, с короткими седыми волосами и руками, которые двигались по столу уверенно и лениво одновременно — так двигаются руки у людей, которые делают одно и то же двадцать лет и до сих пор делают это хорошо. Перед ним стоял раскрытый кейс — его собственный, потёртый, тот самый, откуда она вчера взяла скальпель.

— Мой скальпель верните, когда ваши привезут, — сказал Цяо, не оборачиваясь. — Не потому что жадный. Потому что рука к нему привыкла.

— Верну, — сказала Цзинлэй. — Заявка уже ушла, к четвергу обещали.

— Читал ваше заключение по утопленнику. — Цяо наконец обернулся. Глаза у него были серые, усталые, внимательные — глаза человека, который смотрит на людей так же, как на срезы под микроскопом: без любопытства, с привычкой. — Хорошо написано. Сухо, коротко, без фантазий. Так и держите. В этой работе кто фантазирует, тот врёт.

— Спасибо, — сказала Цзинлэй.

— Не за что. — Цяо закрыл кейс, защёлкнул замки. — Старший Линь вас на выезд тащит? Смотрите за ним. Он на выездах забывает есть и пить, а потом вечером злой. — Помолчал. — Кстати. Руки у вас правильные. Цинь вчера сказал — я не поверил, а сейчас посмотрел, как вы дверь открыли, и поверил. Не портите их.

Он уже отвернулся к своему столу — и вдруг, не оборачиваясь, сказал:

— Раз зашла. Сядь. Десять минут у тебя есть?

— Есть, — сказала Цзинлэй, хотя их не было.

— Сядь, — повторил Цяо и выдвинул ей стул. — Экзаменовать не буду, я не школа. Но я должен знать, что у меня в подвале за человек. Не по диплому — диплом я вчера читал, он красивый, слишком красивый для двадцати лет, — а по голове.

Он снял с полки папку — старую, не из текущих дел, судя по пожелтевшему скотчу на корешке, — и выложил перед ней три фотографии, рядом, как карты.

— Три трупа. Все три — из воды, все три — мои, разных лет. Говори, что видишь. Не торопись. Торопятся те, кому некуда, а тебе есть куда, у тебя отец внизу машину гоняет.

Цзинлэй наклонилась над снимками.

Первый: мужчина, старый, раздутый, сетка ливнёвки видна на коже груди отпечатком. Второй: женщина, молодая, относительно чистая, сорванные ногти. Третий: мужчина средних лет, странная бледность лица при тёмном теле.

Она смотрела молча, секунд сорок. Цяо не торопил — он вообще, она поняла, никогда никого не торопил, в этом был его метод: он давал тебе время, а время выдавало тебя лучше любого допроса.

— Первый — утопление, — сказала она наконец. — Водопроводная или ливневая вода, не река: сетка на груди — он лежал в колодце или у решётки, и вода вокруг стояла, не текла. Старый, без примет борьбы. Сердце, скорее всего. Вторая — не утопление. Ногти сорваны — она цеплялась, а в воде не за что цепляться так, чтобы сорвать все до мяса. Её утопили там, где было за что держаться: край ванны, край лодки, край колодца. И положили в воду после. Третий… — она помолчала. — Третий умер до воды и не от воды. Лицо бледное, тело тёмное — кровь ушла вниз, а лицо обескровлено раньше. Большая кровопотеря на суше. Рана где-то здесь, — она показала, не касаясь снимка, — под волосами или за ухом, маленькая. Тело долго лежало на суше лицом вверх, потом попало в воду.

В лаборатории было тихо. Гудел холодильный шкаф в углу.

— Под волосами, — повторил Цяо. — У него было пробито височное плато. Гвоздём. — Он собрал фотографии, вложил в папку, убрал на полку — и только тогда позволил себе посмотреть на неё прямо. — Третий случай мне в своё время показал один старый судмедэксперт из районного. Я тогда ошибся — сказал «утонул». А ты не ошиблась. — Он кивнул, как ставят отметку. — Хорошо. Диплом красивый, а голова настоящая. Иди на выезд. И помни, что я сказал про руки: не портите. У нас в профессии руки — это то, чем мы подписываемся, когда умираем.

Она уже была у двери, когда он окликнул её — в последний раз, тихо:

— Эксперт Линь. Вчерашний твой утопленник. Ты написала «особых примет нет» — и это верно, я смотрел фото. Но в следующий раз, когда будет «нет примет», напиши мне отдельно, одной строкой, что именно ты посчитала «не приметой». Не в протокол. Мне. Я в этом подвале один решаю, что такое примета. Договорились?

Цзинлэй стояла в дверях, и в спину ей светил холодный свет лаборатории.

— Договорились, — сказала она.

Она вышла в коридор с ровным пульсом и с одной новой строкой в карточке Цяо — самой важной за этот день: «Он не заметил клейма на фото — фото было общим, под мышку не снимали. Но он попросил докладывать лично. Значит, он не доверяет не мне. Он не доверяет бумаге. Это можно использовать. И это опасно».

Цзя Лэ ждал у лестницы с тремя блокнотами, фотоаппаратом и видом человека, который готов к подвигу. Увидев её, он посмотрел с открытым ртом:

— Он вам «не портите руки» сказал? Вам?! Эксперт Линь, да вы понимаете, что это он за пять лет никому такого не говорил? Это как… это как медаль!

— Идём, Цзя Лэ, — сказала Цзинлэй. — Опоздаем.

Машина стояла во дворе — серая служебная «кия» с номерами управления, за рулём — отцовский напарник не вышел, у него выезд в другой район, так что за руль сел сам Чжэньхэ, Цзя Лэ устроился сзади со своим хозяйством, а Цзинлэй села впереди, поставив термос между коленями.

— Первый адрес, — объявил Чжэньхэ, выруливая со двора. — Стоянка «Северная», у аэропорта Хунцяо. Там стоит машина Лю Чэня — того, который в июне пропал. Машина в вещдоках месяц, я её уже осматривал дважды. Теперь посмотришь ты.

— Что я должна найти? — спросила Цзинлэй.

— Ничего, — сказал отец, и это было самое честное, что он мог сказать. — В этом и смысл. Если ты ничего не найдёшь — значит, её правда почистили профессионально, и это тоже ответ. Если найдёшь что-то — тогда мы знаем, куда смотреть дальше. Свежий глаз, дочь. Свежий глаз — это единственное, чего нельзя купить.

По дороге Чжэньхэ говорил.

Он вообще говорил за рулём больше, чем за столом, — Цзинлэй знала это с детства: машина была единственным местом, где отец позволял себе длинные мысли, потому что там нельзя было встать и уйти, и собеседник был вынужден дослушать. Сегодня он рассказывал ей про дело — пересказывал по-настоящему, от начала, не как вчера за ужином, для разговора, а как напарнику, для работы.

— Значит, смотри. Трое за три месяца, все из порта, все мелкие люди: грузчик, диспетчер, перевозчик. Мао Цзянь — апрель, Юй Фань — май, Лю Чэнь — июнь. Интервал ровный, по месяцу. Знаешь, что это значит?

— План, — сказала Цзинлэй. — Не страсть, не случайность. План.

— План, — согласился Чжэньхэ, и она услышала в его голосе удовлетворение: ему нравилось, что дочь отвечает не «да, пап», а по существу. — Теперь дальше. Ни у одного из троих нет врагов, долгов, романов, ничего. Я это проверял сам, не по бумагам — по людям. Ходил, пил чай, разговаривал. Люди, когда им врут, напрягаются — а эти не напрягались. У Мао Цзяня жена и двое детей в Аньхуэй, он им деньги слал каждую неделю, аккуратно, по пятницам. Юй Фань — девочка тихая, диспетчер, жила с сестрой, копила на курсы английского. Лю Чэнь — вообще ангел: не пил, не курил, возил контейнеры двенадцать лет, ни одного штрафа. Ну где тут криминал? Нигде. А пропали. Все трое — чисто, без следа, без тела, без вещей. Машина Лю Чэня — единственное, что осталось. И та чистая.

— Заправленный бак, — сказала Цзинлэй.

— Вот! — Чжэньхэ хлопнул ладонью по рулю, так что Цзя Лэ сзади вздрогнул. — Вот это и есть моя заноза! Человек, который бежит, не заправляет машину перед бегством. Человек, которого убирают, тоже не заправляет — кто ж его спросит. Заправляет тот, кто хочет, чтобы машина выглядела обихоженной. Чтобы на неё посмотрели и сказали: ну да, человек уехал, вот же он, подготовился, бензин купил. Понимаешь? Кто-то сыграл для нас спектакль «мужик уехал по своей воле». И сыграл хорошо! Со вкусом! — Он помолчал, объехал фуру, прибавил газу. — И вот это меня злит, дочь. Не то, что людей убрали, — я старый следователь, я всё видел. А то, что кто-то считает нас зрителями. Что для нас ставят спектакль и думают, что мы хлопаем.

Цзинлэй смотрела вперёд, на серую ленту шоссе, и внутри у неё всё было очень тихо. Она слушала отца и думала: вот так звучит человек, который идёт по красной нити. Не быстро, не прямо — но идёт, и не собирается останавливаться, и его не смущает, что нить пока ведёт в никуда. Он ещё не знал, что нить эта ведёт домой. Он даже не представлял, что так бывает.

Цзя Лэ сзади не выдержал тишины и спросил пискляво:

— Старший Линь, а вот правда, что вы однажды раскрыли дело, потому что заметили, что у подозреваемого носки разные?

— Правда, — сказал Чжэньхэ. — Только это не я заметил, это моя жена заметила, когда мы с ним в лифте ехали. Она мне потом говорит: «Чжэньхэ, у твоего подозреваемого носки разные, один серый, один синий». Я говорю: «Ну и что?» А она: «Человек, который одевается в темноте спешно, — он либо очень бедный, либо очень спешил». Мы проверили — он в ту ночь жёг машину с трупом в багажнике, одевался наспех, спать не ложился. Вот так, Цзя Лэ. Запоминай: лучший следователь в нашей семье — это не я.

Цзинлэй повернула голову к окну. Губы у неё дрогнули — на одну восьмую секунды, не больше. Цзя Лэ сзади шуршал блокнотом, записывая. Она почти видела, что он пишет: «Мудрость старшего Линя: смотреть на носки». Мать смеялась бы. Мать, которая заметила в лифте носки и решила за три секунды, что мужу полезно раскрыть это дело, — что той ночью этот человек ей ничем не мешал, а вот мужу раскрытие поможет, и она подарила ему дело, как дарят иногда цветы: без повода, от избытка.

Она сидела между двумя правдами — впереди шоссе, за спиной стажёр, — и ей было важно, как никогда, сидеть ровно.

Стоянка «Северная» оказалась длинным, унылым прямоугольником асфальта под эстакадой скоростной дороги: сотни машин в ровных рядах, кабина охраны у шлагбаума, рекламный щит с отклеившейся углом фотографией Мальдивов. Над головой гудела эстакада, и гул этот не прекращался ни на секунду — он просто менял высоту, как дыхание.

Сторож, старик в куртке охранника, знал Чжэньхэ в лицо и не стал проверять документы.

— Опять к той «хонде»? — спросил он и махнул рукой вглубь рядов. — Стоит, никто не трогает. Месяц стоит. Только пылью зарастает.

— А в ночь, когда её пригнали, ты дежурил, Ада? — спросил Чжэньхэ.

— Не, я в ту ночь дома спал, Ваня дежурил. Ваня говорил: приехала поздно, часа за два до полуночи, встала в дальний ряд, человек вышел, сел в другую машину — и всё. Ваня и не запомнил бы, да у него привычка: он всех, кто после одиннадцати заезжает, в журнал черкает. Не по службе — для себя. Время он записал, номер — нет, темно было. Спросите его, он сегодня в ночь, к восьми придёт.

— Спросим, — сказал Чжэньхэ и записал в блокнот: «Ваня, ночной сторож, журнал, врем. за 2 часа до 0». Цзинлэй прочитала строчку через его плечо и отметила спокойно: журнал ночного сторожа — это нить к перегонщику, но нить тонкая: время заезда без номера не тянет никуда, кроме «другой машины». Она оставила её жить.

Машина Лю Чэня стояла в дальнем ряду, у самой сетки забора, — тёмно-синяя «хонда» пяти лет от роду, с опечатанными дверями и лентой вещдоков на зеркале. Цзинлэй обошла её кругом, не торопясь, прежде чем отец вскрыл пломбу. Она смотрела так, как учил её Ляо, — не глазами: всем сразу. Пыль на капоте — ровная, месячная, никто не открывал. Колёса: следы стоянки в протекторе, ничего. Зазоры дверей — ровные. Лобовое — целое.

— Осматривали криминалисты дважды, — сказал Чжэньхэ, вскрывая пломбу и открывая водительскую дверь. — Волокна, волосы, отпечатки — ничего, кроме самого Лю Чэня и его жены. Багажник чистый. Под сиденьями — пусто. Единственное, что было, — полбутылки воды в подстаканнике и упаковка от жвачки в бардачке.

— Бак? — спросила Цзинлэй.

— Полный. Заправлен на станции в трёх километрах отсюда, чек нашли в бардачке, время на чеке — 23:40, день исчезновения. Камеры на станции есть, но запись за тот месяц уже перезаписалась, когда мы туда добрались. — Чжэньхэ сказал это ровно, без ругани, и от этого было слышно, как сильно ему это запомнилось. — Заправлялся сам Лю Чэнь — по словам заправщика, «высокий мужик, мало говорил». Кассир его не запомнил.

Цзинлэй села на водительское сиденье.

Она сидела неподвижно секунд двадцать, и Цзя Лэ, уже приготовивший фотоаппарат, не решался щёлкнуть. Потом она начала двигаться — медленно, методично, как человек, который снимает мерку с невидимого тела. Руль: высота отрегулирована под человека выше её, Лю Чэнь был метр восемьдесят два — сходилось. Зеркало заднего вида: угол на водителя среднего роста. Сиденье: отодвинуто назад почти до упора. Педали: чистые, протёртые. Пепельница: пустая, но не мытая — внутри пыль и одна соринка.

— Он не курил, — сказал Чжэньхэ. — Жена подтвердила.

— Не курил, — согласилась Цзинлэй. Она наклонилась, посмотрела под сиденье — светя фонариком, который достала из своей сумки, а не служебным. — Пап, а смотрели под ковриками?

— Смотрели. Цинь лично. Пусто.

— А под запаской?

— Смотрели. Запаска, домкрат, баллонник. Заводская пыль.

Цзинлэй кивнула. Она открыла бардачок — пусто, кроме документов на машину, снятых следователями и потом возвращённых; потом открыла крышку багажника и долго стояла над ним, опираясь ладонями о край. Багажник был чистый. Вычищенный. Коврик с нитяным ворсом — выбит и, судя по запаху, когда-то недавно, до стоянки, вымыт: от него до сих пор слабо тянуло дешёвым автошампунем с запахом «горного луга».

Вот где был ответ. Она знала это раньше, чем нашла.

Она опустилась на корточки и посмотрела в стык между ковриком и пластиковой обшивкой боковины — щель шириной в палец, куда при мытье машины никто не смотрит, потому что туда нужно смотреть, сидя внутри багажника, согнувшись. Она села в багажник. Цзя Лэ за её спиной ахнул и защёлкал фотоаппаратом.

— Эксперт Линь, вам помочь? Там же пыльно…

— Свети сюда, — сказала она.

В щели, прижатая к резиновому уплотнителю, лежала горсть мусора — то, что скапливается в таких щелях годами и не вылетает даже при мойке. Она разобрала её пинцетом, по кусочку, на лист белой бумаги, который Цзя Лэ подал ей трясущимися руками: песок, два катышка пыли, кусочек засохшей травы, чешуя рыбы — одна, маленькая, засохшая до прозрачности, — и крупица чего-то белого, мелового, размером с ползёрнышка риса.

Песок и чешуя были из порта — это она знала и без лаборатории, по цвету и запаху. Такой песок был на любом причале, такая чешуя — под любой сетью грузчика. Это она выложила на бумагу аккуратно, для протокола.

А вот белую крупицу она узнала раньше, чем подняла.

Известь. Гашёная, строительная, с характерной пыльной серостью. Такой известью заделывали стены старых складов — и такой известью пах половина склада в Баошане, того самого, где двое суток назад на стуле сидел Гао Фэй. Она знала этот запах ещё с прошлой весны, когда на складе латали стену, и она два дня не могла вывести этот меловой дух из волос.

Машину Лю Чэня — машину, в которой увезли человека, которого убрал клан, — мыли и чистили там, где стоит гашёная известь. Не обязательно в Баошане: таких складов в городе сотни. Но если эта крупица попадёт в протокол, у отца появится вещественное «где», и он начнёт перебирать склады — все склады, склад за складом, а он умел перебирать, — и рано или поздно встанет у ворот в Баошане.

Цзинлэй смотрела на белую крупицу на листе бумаги. Цзя Лэ дышал ей в макушку. Чжэньхэ стоял рядом, скрестив руки, и молчал — он умел молчать, когда работал другой.

Ветер прошёл под эстакадой и качнул лист.

Цзинлэй сглотнула — один раз, коротко, — и сказала:

— Песок речной, кварцевый, с примесью ракушки — из порта, с любого причала. Чешуя — тоже оттуда, грузчики её на ботинках по всему городу разносят. Трава — обыкновенный пырей, растёт у любого забора. — Она сложила лист, поднялась и стряхнула пыль с брюк. — Ничего из этого не привязано к месту, пап. Машина была в порту — мы это и так знали, он там работал. Больше тут ничего нет. Её отмыли профессионально, до конца, с ковриками. — Она помолчала. — Твой вывод вчерашний был правильный: чисто работали. Очень чисто. Так не бегут. Так убирают.

Белая крупица осталась между её пальцами — она скатала её вместе с катышком пыли, когда складывала лист, и сейчас эта пыль сидела у неё под ногтем большого пальца. Мыть руки после осмотра было положено по инструкции. Она помоет их тщательно.

— Значит, ничего? — спросил Чжэньхэ. Он не выглядел разочарованным. Он выглядел так, будто получил ровно то, что ожидал.

— Ничего нового, — сказала Цзинлэй. — Но я подтверждаю твою версию. Это не побег. И машину сюда пригнал не Лю Чэнь — сиденье отрегулировано под него, да, но зеркало выставлено под человека ниже на пять-семь сантиметров. Лю Чэнь ездил бы со своим зеркалом. Кто-то перегонял машину после него, приладил под себя сиденье, а зеркало выставил «на глазок», по привычке, как у себя. Мелочь, но она говорит: перегонял не хозяин.

Чжэньхэ смотрел на неё секунды три. Потом медленно, с нарастающим восторгом, который он не считал нужным прятать, повернулся к Цзя Лэ:

— Записал?!

— За-записал, — выдохнул стажёр.

— Вот это, Цзя Лэ, и есть свежий глаз. Месяц машина стояла, полгорода на неё смотрело — и никто, слышишь, никто не посмотрел на зеркало! — Он повернулся к дочери, и в его лице было столько простой отцовской гордости, что ей стало тесно в груди под ложечкой — коротко, на один удар. — Зеркало, — повторил Чжэньхэ уже тише, для себя, и достал свой блокнот. — Высокий. Капюшон. И ниже Лю Чэня на пять сантиметров. — Он записывал, бормоча. — Значит, их было как минимум двое…

Он записывал. Цзя Лэ снимал. Сторож у шлагбаума дремал. А Цзинлэй стояла у открытого багажника чужой машины и чувствовала, как под ногтем большого пальца сидит крупица гашёной извести — маленькая, белая, размером с ползёрнышка риса, размером с весь её мир.

Она дала отцу зеркало — честную, настоящую находку, крошечную, бесполезную: «ниже на пять сантиметров» не искали в картотеках. И забрала известь. Арифметика была простая и страшная: чтобы отец шёл дальше медленно, ему надо было что-то давать. Голодный следователь опасен — он начинает рыть вслепую. Сытый — идёт по кормушке.

Она будет его кормить. По крупице. По одной.

— Едем дальше, — сказал Чжэньхэ, захлопывая блокнот. — Второй адрес.

Пока Цзя Лэ запечатывал образцы и бежал к машине, Чжэньхэ задержался у капота и спросил, не глядя на дочь, глядя на эстакаду:

— Слушай. А тебе вообще нравится? Вот это всё. Машины, пыль, чужие багажники. Ты врач, тебя к живым тянуло, а тут — вот это.

Цзинлэй подумала. Она умела отвечать быстро, когда лгала; на правду ей требовалось время.

— Мне нравится порядок, — сказала она наконец. — Вот тут, — она показала на машину, — всё валяется кусками, а потом ты складываешь, и получается картина. Или не получается — и это тоже картина. В клинике то же самое, только быстрее и с кровью. А что?

— Да вот думаю, — Чжэньхэ открыл дверцу, — может, ты правильнее меня устроена. Я в это дело шёл за людьми. А ты, похоже, идёшь за порядком. Люди подводят, дочь. Порядок — нет. Может, у тебя выйдет лучше, чем у меня.

Он сел в машину, и разговор уехал вместе с ним, а Цзинлэй постояла секунду у стоянки, под гулом эстакады, и подумала, что отец только что, сам того не зная, сказал о ней самую точную вещь за двадцать лет. Она шла за порядком. Просто у них с отцом были разные карты того, что считать порядком, — и на её карте порядок лежал там, где у отца был только тёмный лес.

— Едем! — крикнул Чжэньхэ из окна.

— Едем, — сказала она.

Второй адрес был на другом конце города, и дорога заняла сорок минут.

По пути Чжэньхэ свернул в переулок у рынка — «на пять минут, ребята, я сейчас умру, если не поем», — и пять минут превратились в сорок, потому что в лапшичной его знали. Хозяин, круглый человек с полотенцем на плече, закричал «Линь-гэ!» через весь зал, вышел из-за стойки, хлопнул отца по спине, усадил их за лучший столик у окна, принёс чайник — отцу — и, услышав, что дочь Чжэньхэ пьёт только кофе, не смутился ни на секунду: послал мальчишку-подручного через дорогу в кофейню, и через десять минут перед Цзинлэй стоял настоящий американо в бумажном стакане, горячий и даже приличный.

— Тут всегда так? — спросила она, когда хозяин отошёл.

— Тут, в порту, у вокзала, — Чжэньхэ размешивал лапшу. — Я же двадцать лет по этим местам хожу. Люди помнят, кто к ним по-человечески. Смотри, дочь, это важнее любых курсов криминалистики. Запоминай: следователь без людей — это слепой. У тебя должен быть человек в каждом переулке, который тебе позвонит, если что. Не за деньги — за деньги звонят один раз, а потом продают того, кому звонили. По-человечески. Ты помнишь их, они помнят тебя.

— У мамы то же самое с источниками, — сказала Цзинлэй.

— У мамы — да, — Чжэньхэ кивнул, не заметив ловушки, которой не было. — Журналистика. У вас, кстати, с ней много общего: вы обе умеете слушать. Я вот говорить умею, а слушать… — он махнул палочками. — Я когда с ней познакомился, я ей в первый вечер всю биографию выложил, до детского сада. А она сидела, слушала, вот так же, как ты сейчас, — глаза внимательные, молчит. Я потом неделю ходил и думал: что за женщина? Я ей всё рассказал, а я про неё — ничего не знаю. Пришлось второй раз приглашать, чтоб выяснить.

Цзинлэй отпила кофе. Кофе был горячий и кисловатый, и она пила его медленно, чтобы не ответить раньше времени.

— И выяснил?

— Нет, — сказал Чжэньхэ и засмеялся — просто, счастливо, как смеются над удачной шуткой двадцатидвухлетней давности. — Двадцать два года женаты, а я до сих пор выясняю. Она у меня — как хорошее дело, дочь. Чем дольше смотришь, тем интереснее. Вот что я тебе скажу: женись, когда придёт время, на том, кого интересно выяснять. Всё остальное — приложится.

Цзя Лэ, сидевший на краешке стула со своей лапшой, слушал это, развесив уши, и у него было такое лицо, будто ему бесплатно читают курс «Как жить». Цзинлэй посмотрела на отца — на его обветренное лицо, на седину у висков, на то, как он держит палочки, чуть неправильно, слишком высоко, и как это его ни капли не смущает, — и подумала, что у этого человека есть одно свойство, которого нет ни у кого из тех, кого она знала: он говорил о матери так, будто каждый день выигрывал её заново, и ни разу за двадцать два года ему не пришло в голову, что выигрыш был подстроен.

Или приходило? Она посмотрела внимательнее. Нет. Не приходило. Вот что было самым тяжёлым во всей этой конструкции: ложь держалась не на хитрости матери. Она держалась на том, что отец был счастлив, и счастье это было настоящим, полным, до дна, — и разбить его означало бы разбить единственную настоящую вещь во всей их семье.

— Эксперт Линь, — осторожно сказал Цзя Лэ, переводя разговор, — а вам не страшно было? Вчера, с утопленником. Первый день — и сразу такое.

— Нет, — сказала Цзинлэй. — Мёртвые не страшные, Цзя Лэ. Мёртвые уже ничего не могут.

— А кто может? — спросил стажёр простодушно.

Она посмотрела на него поверх стакана.

— Живые, — сказала она. — Доедай.

От лапшичной до следующего адреса было двадцать минут, и Чжэньхэ потратил их на урок.

— Сейчас едем к сестре Юй Фань, — сказал он, выруливая на проспект. — Слушай меня внимательно, дочь, это важнее всего, что я тебе сегодня покажу. Мы едем не допрашивать. Мы едем в гости к человеку, у которого горе. Разница — не в словах. Разница в том, кто ты, когда входишь в дверь. Если ты входишь следователем — человек перед тобой закрывается, как створка, и правильно делает: у него и так забрали главное, ещё и ты лезешь. Если входишь человеком — он тебе сам расскажет больше, чем ты умеешь спросить. Правило первое: не торопи. Правило второе: не записывай при ней. Блокнот у двери, у Цзя Лэ. Она говорит — я слушаю. Она плачет — я молчу. Правило третье, главное: никогда, слышишь, никогда не обещай того, чего не можешь подписать. Слово следователя для таких людей — последнее, что у них есть. Разобьёшь его — ты не просто соврёшь. Ты у них заберёшь и это.

— А если она спросит прямо: «Найдёте?» — спросила Цзинлэй.

— Скажу правду, — Чжэньхэ покрутил руль, объезжая мопед с корзиной уток. — Скажу: не знаю, но ищу и не брошу. Это единственное обещание, которое я умею держать двадцать лет подряд.

Цзинлэй записала это не в картотеку — в другое место, глубже, туда, где лежали слова Ляо. У отца и у Ляо, выяснялось, было одно и то же правило, сказанное с двух сторон жизни: не ври тем, у кого горе. Ляо говорил это про умирающих. Отец — про живых. А она стояла ровно посередине между ними и держала оба правила, как два конца одной нити.

— И ещё, — сказал Чжэньхэ уже у самого дома, притормаживая. — Она тебя спросит про что-нибудь, что тебя удивит. Такие люди всегда спрашивают то, чего не ждёшь. Не отвечай сразу. Пауза — это тоже ответ, и честный.

Юй Мэй, сестра пропавшей диспетчера Юй Фань, жила в старом шестиэтажном доме без лифта, на пятом этаже, — в квартире с низкими потолками, где пахло рисовой кашей и нафталином из шкафов. Дверь открыла женщина лет тридцати пяти с лицом, которое постарело за последний месяц сильнее, чем за предыдущие десять лет: впалые щёки, тени, волосы, собранные кое-как. Увидев Чжэньхэ, она не удивилась — она ждала его, это было видно по тому, что в коридоре стояли три пары тапочек для гостей, выставленные заранее.

— Линь-сыр, — сказала она тихо. — Заходите. Я чай поставила.

— Юй Мэй, здравствуйте. — Чжэньхэ говорил с ней негромко, почти как дома. — Это мои коллеги. Это моя дочь, она теперь с нами работает, эксперт.

Юй Мэй подняла глаза на Цзинлэй — впервые по-настоящему, — и во взгляде этом мелькнуло что-то, чего Цзинлэй не сразу прочитала: не любопытство, не надежда. Оценка. Так смотрят люди, у которых осталась одна ставка, когда решают, на что её поставить.

— Заходите, — повторила Юй Мэй. — Только у меня тесно.

Квартира была маленькая, чистая до стерильности и очень печальная — не вещами, а их отсутствием: на полке стояли две фотографии в рамках, и обе были с двумя сёстрами, и обе давние. Средняя комната служила и гостиной, и столовой; на столе уже стоял чайник и чашки — три, хотя Юй Мэй не знала, что их будет трое. Запасная чашка, поняла Цзинлэй. В этом доме всегда ставили чашку на одну больше. Для той, кто могла вернуться.

Они сели. Цзя Лэ устроился у двери с блокнотом — его Чжэньхэ посадил туда взглядом, подальше от стола, чтобы не давил на женщину своей служебностью. Чайник был поставлен заранее, и чай был заварен крепкий, правильный, — Цзинлэй приняла чашку и поставила её перед собой не тронутой; Юй Мэй заметила, но ничего не сказала, только молча убрала её чашку и принесла из кухни стакан воды. Без вопросов. Цзинлэй отметила это: женщина, которая замечает и не спрашивает, — такие помнят всё.

— Вы сказали по телефону, что вспомнили кое-что, — начал Чжэньхэ. Он не достал блокнот. Он вообще ничего не достал — сидел, обхватив чашку обеими ладонями, как гость, как человек, который пришёл в дом, а не в протокол. — Не торопитесь, Юй Мэй. Рассказывайте как хотите. Мы не на допросе. Мы у вас в гостях.

— Я всё думала, — сказала Юй Мэй. — После вашего прошлого прихода я всё думала: что я могла не сказать? Я ведь рассказала всё. Про её смены, про то, что она никуда не собиралась, про деньги, что она копила. А потом я лежала ночью и вспомнила одну вещь. Она мне её сама рассказала, за неделю до того, как… до мая. Я тогда не придала. А теперь думаю — может, это и есть то самое?

— Расскажите, — сказал Чжэньхэ.

— Фань тогда пришла с ночной смены злая. Она редко злилась, она вообще была тихая, как мышь. А тут пришла, бросила сумку, говорит: «Достали эти ночные». Я спрашиваю: что за ночные? Она говорит: у нас же в порту по ночам тихо, смена спит по очереди, а тут третью неделю по ночам работа идёт. Не на нашем причале — на восьмом. Говорит: с диспетчерской вышки видно, баржи подходят, разгружаются — а в ведомости по восьмому причалу за эти ночи ни одной записи. Пусто. Она же диспетчер, у неё вся ведомость района на экране. Она говорит: «Сестра, я или с ума схожу, или у нас грузы ходят мимо бумаг». Я ей сказала: не лезь, не твоё дело. — Юй Мэй говорила всё тише, и на последних словах её голос сел, как садится старая пружина. — Она сказала: «Да я и не лезу. Мне мои курсы важнее». Через неделю она не пришла со смены.

В комнате стало очень тихо. За окном кричали на лестничной клетке — соседи переругивались из-за велосипеда, — и крик этот долетал сюда приглушённый, как из-под воды.

Чжэньхэ не пошевелился. Цзинлэй сидела неподвижно, со стаканом воды в руке, и внутри у неё всё разложилось само, холодное и ровное, как инструменты на столе: восьмой причал. Ночные разгрузки мимо ведомости. Три недели подряд. Юй Фань с вышки видела то, что клан считал невидимым, и кому-то об этом рассказала — если не сестре, то на смене, а на смене у любого разговора есть уши. Вот почему Юй Фань, случайная, убрана. И вот куда смотрит теперь отец — прямо на восьмой причал, где его красная нить уже натянута, а он об этом ещё не знает.

— Юй Мэй, — сказал Чжэньхэ очень бережно. — Это очень важно. То, что вы вспомнили. Я вам не буду говорить глупостей про «всё будет хорошо». Я скажу вам другое: мы этим займёмся. Восьмым причалом. Обещаю вам, как человек человеку.

— А ещё, — Юй Мэй сжала край фартука, которого на ней не было, — она сжимала воздух, где фартук должен был быть по привычке, — ещё одно. Уже после, в июне. Приходил человек. Не из полиции. Спросил, не оставила ли Фань чего-нибудь — бумаг, записок, флешки какой-нибудь. Я спросила: а вы кто? Он говорит: из профсоюза портовых. Улыбался такой. А я ему говорю: у нас в порту профсоюз — это та же администрация, вы мне, мил человек, зубы не заговаривайте. Он постоял, улыбнулся ещё раз и ушёл. Высокий. — Она подняла глаза. — В капюшоне не был — лето же. Но высокий. И руки у него были… как у человека, который не бумаги перебирает.

Цзинлэй не шевельнулась. Она пила воду, и вода была тёплой, кипячёной, со вкусом старого чайника, и она пила её мелкими глотками, давая себе время. Человек «из профсоюза» в июне — это уже не про Гао Фэя, Гао Фэй был внутри. Это был внешний контур, чужая зачистка

— Чжао присылал своего человека искать то, что могла оставить Юй Фань. Чжао тоже рыл под восьмой причал. Значит, ночные баржи — не клановые. Значит, клан Чжао грузил на восьмом мимо бумаг, а клан Хэйфан об этом либо не знал, либо знал и позволял — и в любом из этих двух случаев её дед должен был узнать об этом раньше отца.

Вот оно, думала Цзинлэй, глядя в стакан. Вот где нить раздваивается. Отец идёт к восьмому причалу, потому что там пропадали люди. А на восьмом причале — грузы Чжао. Она сегодня же должна передать это Суну. Не «отец близко к клану». Гораздо хуже и лучше одновременно: отец близко к Чжао — к врагу. Если он докопается до ночных барж Чжао, он станет для клана Чжао тем, кем Гао Фэй стал для нас. А если клан Хэйфан использует его нить… Она не додумала. Перед глазами была Юй Мэй, которая сжимала несуществующий фартук, и Чжэньхэ, который обещал ей «как человек человеку», и где-то посередине сидела она, Цзинлэй, со стаканом тёплой воды, и ей надо было решить уже сейчас, кого она кормит, а кого — нет.

— Юй Мэй, — сказала она, и Чжэньхэ посмотрел на неё с лёгким удивлением: она впервые заговорила. — Этот человек, из «профсоюза». Вы сказали — руки. Поясните.

Юй Мэй перевела на неё взгляд. Опять эта оценка — и на этот раз Цзинлэй прочитала её: женщина решала, можно ли говорить при ней. Решила, что можно.

— Мозоли здесь, — Юй Мэй показала на основание большого пальца и ладонь. — И костяшки все битые, не раз. У братана моего покойного такие же были. Он на баржах грузил, пока не утоп. На тросах. Это тросовые руки, девочка. А не профсоюзные.

— Спасибо, — сказала Цзинлэй. — Это важно. Если он придёт ещё раз — не открывайте. Позвоните вот сюда. — Она достала карточку отдела и написала на обороте два номера: отдела и свой новый, служебный. — Любое время. Даже ночью. Особенно ночью.

Юй Мэй взяла карточку обеими руками, как берут что-то очень лёгкое и очень дорогое.

— Вы найдёте её? — спросила она. Не «раскроете». Не «накажете». — Хотя бы… чтобы было где поклониться. Мне даже поклониться негде. Вы понимаете? Мать нашу мы с ней вдвоём хоронили, и место есть, а кланяться мне — негде.

Никто не ответил сразу. Цзя Лэ у двери опустил глаза в блокнот. Чжэньхэ сидел, глядя в свою чашку, и Цзинлэй видела его профиль — видела, как у него под скулой медленно ходит жёлв, туда и обратно, и как он не находит слов, потому что слов для этого нет, потому что «да, найдём» было бы враньём, а он не умел врать.

— Юй Мэй, — сказала Цзинлэй тихо. — Я эксперт. Я не буду вам обещать то, что не могу подписать. Но я скажу вам одну вещь, и вы мне поверьте, потому что я не вру: тот, кто это делает, — он аккуратный. Очень. А аккуратные люди всегда оставляют за собой ровно один слишком чистый угол. Мы его ищем. Ваш рассказ сегодня — это первый шаг к тому углу.

Она не знала, зачем сказала это. Это не входило ни в один из её планов. Но Юй Мэй смотрела на неё — и вдруг по её лицу пошло что-то, отпустило его изнутри, слёзы пошли тихо, без всхлипа, просто потекли, и женщина вытирала их ладонью, сердито, как вытирают воду.

— Простите, — сказала Юй Мэй. — Я месяц не ревела. Ни на людях, ни одна. А тут вот вы сидите… такая молоденькая, а говорите — как взрослая. Простите.

— Не извиняйтесь, — сказала Цзинлэй. — Плакать можно. Это не мешает работе.

Уже у дверей, когда Чжэньхэ надевал ботинки, а Цзя Лэ прятал блокнот, Юй Мэй вдруг вспомнила — это было видно по тому, как она остановилась с чайником в руке, забыв, зачем взяла его:

— А ещё ноутбук её. Вы же его забирали, вместе с телефоном, а потом вернули. Он у меня на антресолях лежит, я его ни разу не открывала — не могу. Там же всё её: фотографии, эти её курсы… Может, вам ещё раз посмотреть? Вдруг что.

— Мы заберём его сейчас, если позволите, — сказал Чжэньхэ. — Посмотрят в отделе и вернут. Я вам расписку напишу.

Ноутбук был старый, розовый, с наклейкой кота на крышке, — Цзинлэй несла его к машине сама, и он был тяжёлый, как все чужие жизни. В машине, пока отец устраивал Цзя Лэ с планшетами, она попросила:

— Пап, я посмотрю его сама, ладно? Не по службе. Там девичьи вещи, курсы, фотографии. Мне проще, я не полиция для неё.

Чжэньхэ посмотрел на неё, потом на розовый ноутбук с котом.

— Ладно, — сказал он. — Только протокол: смотришь, я подписываю. И вернуть его надо целым, дочь. Для неё это не вещь. Это всё, что осталось.

— Знаю, — сказала Цзинлэй.

Она знала лучше, чем он думал. И знала ещё одно: человек «из профсоюза» искал именно это. Не записные книжки — цифру. И если в розовом ноутбуке с котом был хоть один кадр, снятый с диспетчерской вышки, хоть один файл с расписанием барж, — она должна была найти его раньше, чем это сделает кто-то другой. Любой другой. Из любой стороны.

Вечером, в своей комнате, она пройдёт по нему папка за папкой — медленно, внимательно, с уважением к чужой жизни и с холодной аккуратностью чистильщика. Она уже знала, что найдёт: курсы английского, фотографии двух сестёр, письмо, недописанное маме. И не найдёт — она была почти уверена — того, за чем приходил человек с тросовыми руками. Такие, как Юй Фань, не прячут нитей. Такие просто видят слишком много с вышки.

Чжэньхэ посмотрел на дочь — долго, внимательно, так, как не смотрел на неё ни разу за эти два дня. Потом встал, вежливо поклонился Юй Мэй — по-настоящему поклонился, — и сказал:

— Мы пойдём, Юй Мэй. Вы — держитесь. И помните: я обещал.

На лестнице, спускаясь по узким маршам мимо чужих дверей, Чжэньхэ шёл впереди и молчал. Уже у подъезда, на солнце, он остановился, повернулся к дочери и спросил — не как следователь, как отец:

— Слушай. А ты откуда знаешь, что про «слишком чистый угол»?

— Ляо говорил, — сказала Цзинлэй. — Доктор, у которого я училась. Он говорил: идеальной работы не бывает, бывает работа, где чисто отмыто одно место больше остальных. Ищи перепад чистоты.

Чжэньхэ хмыкнул, покачал головой с уважением и полез в карман за ключами.

— Хороший был у тебя учитель. Жаль, уехал. Я бы с ним чайку выпил.

Цзинлэй открыла дверцу машины. На солнце стояла тишина июньского двора, где-то играли дети, и в этой тишине она подумала: нет, папа. Вот с ним бы ты чайку не выпил. Он бы тебя увидел насквозь за одну минуту, а ты бы его — никогда.

Они уже выехали со двора, когда Чжэньхэ, глядя прямо на дорогу, сказал:

— Я ей позвоню сегодня вечером. Юй Мэй. Не по делу — просто спросить, как она. Она там одна на пятом этаже, с лишней чашкой. — Он помолчал. — Знаешь, что самое трудное в таких визитах, дочь? Не то, что тебе говорят. А то, что ты уходишь. Она остаётся, а ты уходишь. Я каждый раз выхожу от таких людей и первые десять минут в машине молчу. Цзя Лэ, не обижайся, но ты сейчас свидетель: молчу.

— Я ничего не слышу, старший Линь, — честно сказал Цзя Лэ с заднего сиденья. — Я сплю.

— Вот поэтому ты мне и нравишься, — сказал Чжэньхэ.

Потом он набрал жену — по громкой связи, потому что за рулём он никогда не держал трубку в руке, это было его железное правило, — и голосом человека, который докладывает о победе, сказал:

— Ваньжу! Мы съездили. Дочь нашла зеркало. То есть не зеркало — она по зеркалу вычислила, что машину перегонял другой. Понимаешь? По зеркалу!

— Понимаю, — сказала Ваньжу из трубки, и по одному её тону Цзинлэй услышала, что мать улыбается — той улыбкой, которой улыбаются, глядя на очень дорогую вещь. — Она вообще у меня находчивая. Вы где сейчас?

— В порт едем. Домой — к ужину. Готовь на троих, мы голодные, как…

— Как следователи после выезда, — сказала Ваньжу. — Знаю. Двадцать два года знаю. Не гони, Чжэньхэ.

— Я никогда не гоню, — соврал он и прибавил газу.

— Третий адрес, — сказал Чжэньхэ, отключив связь. — Порт. Восьмой причал.

Порт встретил их запахом — солёной водой, соляркой, рыбой и горячим железом, — и этот запах Цзинлэй знала лучше, чем знал её отец, хотя отец бывал здесь десятки раз, а она — никогда в жизни, по документам. Она знала его ночным: из машины Ханя, из рассказов Ма Тэна, с одежды людей, которых привозили к ней в клинику прямо со смены. Днём порт был другим — огромным, честным, грохочущим: краны ходили по рельсам, контейнеры вставали друг на друга со звоном, который чувствовался зубами, и люди в оранжевых жилетах сновали между всем этим, как муравьи, у каждого своё дело.

Их встретил начальник смены шестого причала — жилистый человек лет пятидесяти по фамилии Би, с каской в руке и привычкой говорить, не договаривая: портошные, как и следователи, экономили слова. Он уже работал с Чжэньхэ по делу, здоровался как со старым знакомым — крепко, без улыбки.

— Шестой как стоял, так и стоит, Линь-сыр, — сказал он. — Ничего нового. Рыбаки после того тела наши теперь по ночам к сетке шугаются, рыбачат у третьего. А вы куда — опять к шестому?

— К восьмому, — сказал Чжэньхэ.

Би посмотрел на него чуть дольше, чем требовалось.

— На восьмом у нас тихо, — сказал он. — Восьмой вообще полупустой стоит с зимы. Грузы на нём не те, чтобы… — Он не договорил. Переложил каску из руки в руку. — Ну, пойдёмте, раз надо. Только я вас предупрежу: вахтёр там новый, месяца два, его с основного пятьдесят первого перевели, злой, как собака, и ничего не знает. И не знал.

Цзинлэй шла на шаг позади отца и слушала. «Полупустой с зимы». «Грузы не те». «Вахтёр новый, месяца два». Она складывала это в карточку восьмого причала и уже видела конструкцию целиком: причал, который по бумагам почти не работает, — идеальное место для работы мимо бумаг. Новый вахтёр, который «ничего не знает и не знал», — идеальные глаза, которые ничего не видят. А по ночам, три недели подряд, туда вставали баржи, которых не было в ведомости. Клан Чжао выстроил это аккуратно. Она почти восхитилась — чужой, но хорошей работой: чисто, дёшево, с длинным запасом прочности. Найти такое можно только одним способом — стоять на диспетчерской вышке по ночам. Или иметь своих людей в порту.

У клана Хэйфан в порту своих людей не было. Она знала это точно: это была её вотчина, её таблица, и в таблице этой шестой причал стоял пустым. Вот что ей сегодня предстояло исправить — и это было важнее всего, что она делала для отца.

Пока отец с Би разговаривали у смотрового ящика про рыбаков и про июньскую воду, она задала Би единственный вопрос — простой, по делу:

— А люди у вас постоянные? Грузчики, стропальщики. Или текучка?

— Постоянные, — Би пожал плечами. — Кто на тросах — те годами. Старые команды, все свои. Это не груз на складе перетаскивать, тут доверие нужно: трос не тому подал — человека убило. У меня на шестом команда двенадцать лет почти без перемен. — Он помолчал и добавил, сам того не ведая, главное: — Жалуются, что старших теперь мотает. Ши Гэна вон, бригадира, администрация по ночам гоняет — якоря ему какие-то, инвентаризация. Мужик злой ходит. А злой бригадир — это плохо, это по людям бьёт.

— Сочувствую, — сказала Цзинлэй ровно и записала: Ши Гэн — бригадир шестого — администрация — «по ночам». Кто-то из администрации порта гонял бригадира шестого причала на ночные смены. Она не знала ещё, что это имя уже идёт к её матери своей цепочкой и встретится с её записью до полуночи. Так совпадают хорошие дни: все нити в одну точку.

Восьмой причал лежал в самом конце территории, за рядами ржавых контейнеров, — длинный бетонный палец, уходящий в мутную воду. На нём правда было тихо: ни крана в работе, ни людей, только чайки и старый портальный кран, стоящий мёртвым журавлём против неба. Ветер здесь был сильнее, он шёл с воды и тянул за одежду.

Чжэньхэ встал у края причала и долго смотрел на воду. Потом прошёл вдоль кромки — медленно, глядя под ноги, — и Цзинлэй пошла следом, и Цзя Лэ — за ней, с фотоаппаратом, который ему тут нечего было снимать. Причал был чистый. Профессионально чистый: бетон местами свежее, вымытый швартовыми и дождями, ни пятен, ни следов. Но Цзинлэй видела то, что видела бы Юй Фань с вышки: кнехты — швартовые тумбы — у дальнего конца причала были отполированы тросами свежее, чем у ближнего; ржавчина на них была содрана в полосках, и полоски эти ещё не успели затянуться. По таким полоскам она читала, как по строкам: сюда, к дальнему концу, вставали. Недавно. Много раз.

— Пап, — сказала она. — Смотри на кнехты.

Чжэньхэ присел у дальней тумбы. Повертел головой. Посмотрел на ближние, сравнил.

— Свежие задиры, — сказал он. — Тросовые. — Он поднял глаза на дочь, и в них зажглось то самое, что она видела у него дома, за столом, когда разговор заходил о работе: азарт, чистый и простой, как у ребёнка. — Причал полупустой, а тумбы работают. Цзя Лэ! Снимай тумбы! Все!

Пока Цзя Лэ щёлкал, Цзинлэй отошла к вахтёрской будке. Вахтёр — молодой, квадратный, с лицом человека, обиженного переводом, — стоял в дверях и смотрел на них с подозрением.

— Ночные стоянки у вас бывают? — спросила она.

— Нет, — сказал вахтёр. — У нас тихо. Мне при переводе сказали: место спокойное, кладбище карьеры. — Он сплюнул под ноги, вспомнил, что перед ним женщина, и смутился. — А что?

— Кто вам сказал?

— Диспетчерская. А что? — повторил он уже настороженно.

— Ничего, — сказала Цзинлэй. — День хороший. Работайте.

Она вернулась к отцу, который стоял у края причала и смотрел на диспетчерскую вышку — серую башню в трёхстах метрах, с обзором на весь район причалов.

— Вот оттуда она и видела, — сказал Чжэньхэ тихо. — Юй Фань. Каждую ночь сидела там, одна, смотрела сюда. И в один из дней увидела что-то такое, за что её… — Он не договорил. Постоял. — Понимаешь, дочь, что меня бесит? Она видела это с вышки. Месяц видела. А мы — нет. Мы приходим днём, смотрим на пустой причал и уходим. Потому что мы смотрим на место, а надо смотреть на время. Всё тут происходит по ночам.

— Заявку на ночное наблюдение подашь? — спросила Цзинлэй.

— Подам. Вэй порежет — бюджет, скажет, причал полупустой, не за что платить переработку. — Чжэньхэ потёр переносицу. — Но я подам. А пока — Цзя Лэ, снимай вышку отсюда, под разными углами. Я хочу дома разложить, что оттуда видно, а что нет.

Цзинлэй стояла рядом с отцом, ветер трепал её пиджак, и она смотрела на воду за причалом — мутную, быструю, уходящую в море. Ночное наблюдение надо было убить. Тихо, через Вэя, через бюджет — это было просто, капитан Вэй резал такие заявки сам, без подсказки, по привычке экономить. Но отец сказал «я подам» — а отец был упрямый, и если его резануть по бюджету три раза, на четвёртый он придёт сюда сам, на свои выходные, со своим термосом, и будет сидеть на берегу один. Вот этого нельзя было допустить ни в коем случае. Отец, сидящий

ночью на берегу напротив восьмого причала, — это картина, от которой у неё по спине прошёл холод, хотя ветер был тёплый.

Значит, надо было дать отцу другую нить — быстрее, чем он успеет привязаться к этой. Нить, которая ведёт к Чжао, но не к ночным баржам. К счетам, к «профсоюзному» человеку, к Хань Цзюню. Человек, которого Чжао «отправил лечиться в Сингапур» и чьё тело лежало в её морге с клеймом под мышкой, — вот идеальная кормушка. Только отдать её отцу она не могла: имя Жэнь Дагуан было «оставлено мёртвым», и правильно. Тогда что? Она думала об этом всю дорогу обратно, пока отец вёз их через вечерний город и трубил в клаксон пробкам с благодушием человека, у которого хороший день.

А день у него и правда был хороший. Она посмотрела на его профиль — он напевал себе под нос, постукивая пальцами по рулю, — и ей пришла в голову мысль простая и почти смешная: сегодня она впервые за двадцать лет провела с отцом целый рабочий день. Не как дочь за столом. Как коллега. И это было… Она не стала подбирать слово. Слово было не нужно. Было достаточно того, что когда он сказал у причала «Цзя Лэ, снимай тумбы», голос у него был молодой.

Прежде чем уехать из порта, они зашли ещё в одно место — в отделение портовой полиции, низкое здание у проходной, с выцветшим флагом и запахом жареного лука из столовой за стеной.

Капитан Ло, начальник этого отделения, был отцовским ровесником и, судя по всему, отцовским старым знакомым: они поздоровались за руку, долго, с рукой на плече, и Ло тут же, не спрашивая, крикнул в коридор: «Сяо Ван, чаю!» — и уже потом, увидев Цзинлэй, присвистнул:

— А это кто у нас? Чжэньхэ, неужели дочь? Выросла-то! Я ж тебя помню вот такенькой, — он показал ладонью где-то на уровне стола, — ты у отца на плечах сидела на празднике в парке, мороженое ела, ещё ему на ухо капало.

— Это было лет семнадцать назад, — сказал Чжэньхэ.

— Семнадцать, — согласился Ло. — А помню. У меня на людей память. На цифры — никакой, а на людей — вот. — Он усадил их, разлил чай — Цзинлэй молча приняла чашку и молча же не стала пить, и никто этого не заметил, кроме неё самой. — Так что, опять по вашим пропавшим? Я же говорил, Чжэньхэ: порт — дыра. Люди тут сами по себе пропадают, без всякого криминала. Вода, она не спрашивает.

— Ло, я сегодня был на восьмом, — сказал Чжэньхэ. — Тумбы на дальнем конце работают. Причал полупустой, а тумбы свежие. И вот ещё что: скажи мне, что у вас там с камерами на восьмом?

Ло почесал затылок. Жест был медленный, виноватый.

— Вот же ж ты в больное место. Камеры на восьмом с мая на профилактике.

— Все три?

— Все три. Заявка от администрации порта: мол, столбы старые, линию ведём новую, камеры пока снимаем, чтоб не спалить. Подписано главным инженером. Я сам ругался — мне оперативно нужны те камеры, у меня на восьмом в прошлом году склад временного хранения был, — но заявка хозяйственная, не мне её резать. — Ло развёл руками. — В мае сняли. Июнь на дворе. Видишь ли ты где-нибудь на восьмом новую линию? Вот и я не вижу.

Цзинлэй сидела с чашкой остывающего чая и слушала, и карточка восьмого причала в её голове обрастала строками: камеры сняты по хозяйственной заявке; подписал главный инженер порта; в мае — как раз перед тем, как пошли ночные баржи, которые видела Юй Фань. Кто-то в администрации порта подготовил тьму заранее, за месяц. Это была не импровизация. Это была стройка: сначала снимают глаза, потом сажают нового вахтёра, потом начинают грузить. Клан Чжао строил это долго и терпеливо — так строят не налёт, а дорогу.

— Имя инженера? — спросила она.

Оба посмотрели на неё — Ло с удивлением, отец без удивления, с готовностью.

— Инженера, который подписал заявку на снятие камер. У него есть имя?

— Есть, — Ло полез в шкаф, порылся, достал папку. — Гу Байчуань. Главный инженер, работает в порту лет двенадцать, до этого — в Гуанчжоу. А что?

— Ничего, — сказала Цзинлэй. — Запиши, пап. Люди, которые снимают камеры, тоже бывают интересны.

— Запишу, — сказал Чжэньхэ и записал. Цзя Лэ за его спиной тоже записал, синхронно, как эхо.

Из порта выезжали, когда небо над морем уже золотилось. Чжэньхэ вёз медленно, по набережной, и все трое молчали — не потому что было нечего сказать, а потому что день был длинный и хороший, и молчание после такого дня бывает не пустым, а полным, как вода в стакане до краёв.

В управление вернулись к шести. Чжэньхэ пошёл наверх, к Вэю, докладывать и — она знала — требовать ночное наблюдение; Цзя Лэ побежал печатать фотографии; а Цзинлэй спустилась в подвал, сдать служебную камеру и помыть руки.

Когда она поднялась обратно, дверь кабинета Вэя на третьем этаже была приоткрыта, и голоса из неё долетали в коридор — Вэй не повышал голоса никогда, а отец повышал редко, но сегодня оба были слышны. Цзинлэй замедлила шаг у лестницы — не остановилась: останавливаться под дверью нельзя, это замечают; замедлиться — можно, у замедлившегося человека всегда есть причина, и её причина шла по коридору навстречу с папкой.

— …понимаю ваши аргументы, Чжэньхэ, но поймите и вы: заявка на ночное наблюдение — это люди, это переработки, это техника. У меня на отдел два таких ресурса в месяц. Один уже ушёл на взрыв в Цзиньане.

— Вэй, у меня кнехты с задирами на полупустом причале, — голос отца был ровный, упрямый, без просьбы и без нажима — так он умел, когда был прав. — У меня камеры, снятые «на профилактику» аккурат перед исчезновениями. У меня свидетельница, которая видела ночные баржи мимо ведомости. Мне не нужно наблюдение на месяц. Мне нужны трое суток. Одна хорошая ночь.

— А если ночь будет пустой?

— Тогда я сам, в свой выходной, сяду там со своим термосом, и вы мне это не запретите, потому что это мой выходной.

Пауза. Цзинлэй, уже прошедшая мимо двери, услышала, как Вэй вздохнул — сухо, по-бухгалтерски:

— Трое суток. Со среды. Два человека, без техники, технику не подпишу. И, Чжэньхэ… если ваша нить опять выйдет пустой, я это дело отдаю в висяки. У меня сверху спрашивают не про причалы, а про раскрываемость. Идите.

Цзинлэй была уже у поворота на лестницу, когда дверь открылась и отец вышел — и она видела его лицо в профиль, одну секунду: лицо человека, который получил ровно то, что хотел, и знает, сколько это стоит. «Со среды». Она шла вниз по ступеням и раскладывала: среда. В среду Сун встречает «Цаплю» в чайной на Юньнаньской. В среду отец сажает двух человек на берег напротив восьмого причала. Если «Цапля» знает про ночные баржи — а он знает, он их покупает, — значит, нить сойдётся в одну точку в одну ночь, и в этой точке встретятся её отец и люди Чжао. Этого нельзя было допустить никакими способами, и срок у неё был — четыре дня.

В лаборатории горел свет. Старший эксперт Цяо сидел за столом с микроскопом и, не оборачиваясь, сказал:

— Ну как выезд?

— Хорошо, — сказала Цзинлэй. — Машину Лю Чэня смотрели. Зеркало выставлено под другого водителя.

— Читал бы ты меньше Конан Дойла на ночь, — проворчал Цяо, и она поняла, что это его манера хвалить: ворчать. — Ладно. Подойди сюда, раз пришла.

На столе лежали фотографии — её утопленник, вчерашний, расклады: общий план, руки, лицо. Цяо смотрел на них через очки, придвинутые к самым глазам.

— Смотри. Учись. — Он ткнул пальцем в снимок правой руки трупа. — Видишь, вот здесь, между указательным и средним, стёртость? Ты вчера это не описала.

Цзинлэй наклонилась. Стёртость была — небольшая, на боковых поверхностях пальцев, давняя, загрубевшая кожа в характерных местах.

— От верёвки, — сказала она. — Или от троса. Профессиональное, старое.

— От троса, — кивнул Цяо. — Человек пятнадцать лет на тросах, как минимум. Утопленники в порту — они чаще из воды и из-под крана, чем из водки, как думают люди. Этот — портовый, точно. Ты это пропустила. Почему?

Она молчала секунду. Ответ был: потому что я смотрела под мышку, на клеймо, и всё остальное видела сквозь него. Вслух она сказала:

— Потому что смотрела на странное. Цзя Лэ сказал — «что-то странное», я и пошла искать странное. Учитель говорил: не ищи странное, ищи всё. Нарушила собственное правило.

Цяо откинулся на стуле и посмотрел на неё — впервые долго, с интересом.

— А учитель у тебя был не дурак, — сказал он. — Запомни, девочка: в этой работе «странное» — ловушка. Кто ищет странное, тот находит то, что ему подложили, чтобы он нашёл. А работа — в обычном. Стёртые пальцы, старые мозоли, чиненый зуб. Вот там люди. — Он собрал фотографии в стопку, ровно, постучал ею по столу. — Впрочем, заключение у тебя чистое. «Утопление, без особых примет». Верно и аккуратно. Только в следующий раз пиши про руки. Руки — это биография.

— Спасибо, — сказала Цзинлэй. — Я запомню.

Она вышла из лаборатории с тяжёлым, новым ощущением под рёбрами. Цяо не был опасен, как Дэн. Он был опасен иначе: он был хорош. Он смотрел на мёртвых и читал их, как книги, и если бы он осматривал вчерашнего утопленника сам, он бы не сказал «особых примет нет». Он бы нашёл клеймо — и записал его, не зная, что это, но записал, аккуратно, по протоколу, и протокол ушёл бы наверх, и кто-нибудь, когда-нибудь, сверил бы… Цзинлэй шла по коридору и понимала, что за эти два дня у неё появился первый человек в отделе, которого надо не обманывать — обманывать Цяо было бесполезно, — а опережать. Его нельзя было подпускать к телам из порта. Совсем. Это надо было устроить так же тихо, как всё остальное: через график, через дежурства, через «эксперт Линь возьмёт сама».

Наверху, в секторе, за своим столом у окна, сидел Дэн. Было уже за шесть, отдел пустел, а он сидел и переписывал что-то из папки в свой коричневый блокнот — она узнала его с порога, по корешку. Увидев её, Дэн не закрыл блокнот. Наоборот: неторопливо вписал строчку, закрыл, положил в ящик и поднялся ей навстречу, засунув руки в карманы.

— Эксперт Линь. Как выезд? Слышал, ездили по делу с самим старшим Линем. Семейная бригада.

— Хороший выезд, — сказала Цзинлэй. — Много дороги.

— Дорога — это лучшее в нашей работе, — Дэн улыбнулся своей редкой улыбкой. — В машине люди говорят. Вы заметили? В машине все говорят. Глаза некуда деть, вот язык и развязывается. — Он помолчал, глядя на неё чуть сверху вниз. — Я вот тоже сегодня ездил. К соседям, в районное, по бумагам. И знаете, что я услышал? Интересную вещь. Что у вас, эксперт Линь, клиника своя. Частная, хирургическая. Два года. И что туда, говорят, ходят люди… интересные. Которым в обычную больницу не очень хочется.

Цзинлэй сняла пиджак, повесила на спинку стула — не спеша, ровно. Потом села, повернулась к нему всем корпусом и посмотрела снизу вверх.

— Дэн, — сказала она. — Ты мне задала вопрос про клинику вчера, за ланчем. Сегодня — опять. Я отвечу один раз, чтобы нам больше не возвращаться. Клиника моя, лицензия есть, налоги плачу, врачи дипломированные. Пациенты приходят разные — к врачу вообще ходят разные, это, знаешь ли, суть профессии. Если тебя интересует клиника — вот адрес, приходи, запишусь тебя к терапевту. — Она достала карточку клиники, положила на стол между ними, ровно посередине. — А если тебя интересую не пациенты, а я — тогда не ходи вокруг. Спрашивай прямо. Я отвечаю на прямые вопросы.

Дэн смотрел на карточку. Потом на неё. Улыбка у него стала шире и тоньше.

— Вот за это вас и… уважают, наверное, — сказал он. — Прямо так прямо. Нет, эксперт Линь, никаких вопросов. Просто отдел у нас дружный, мы друг о друге всё знать любим. — Он взял со стола свою папку. — Хорошего вечера. Завтра, говорят, у вас семейное торжество? Не буду задерживать.

Он ушёл. Цзинлэй сидела неподвижно и слушала, как затихают его шаги по лестнице. «Завтра семейное торжество». Откуда Дэн знал про юбилей деда? В отделе об этом не знал никто — отец при всех не говорил, это она знала точно: отец хранил семейное отдельно от работы ревниво, по-старомодному. Значит, Дэн знал не из отдела. Значит, он слушал не здесь.

Она открыла в голове карточку Дэна и переписала её заново. «Ведёт собственную ведомость. Знает то, чего в отделе не говорят. Интерес к клинике — не праздный: либо копает под новенькую, либо копает под кого-то, кто стоит за новенькой». И ниже, отдельной строкой: «Выяснить, на кого работает Дэн».

Вечером, уже дома, она напишет Суну два сообщения вместо одного.

Домой они ехали вместе — Чжэньхэ сдал служебную машину и повёл свою, старую, с отцепленной где-то внутри панелью, которая дребезжала на неровностях уже третий год. В машине пахло кофе — от её термоса — и ещё чем-то старым, отцовским: кожей сидений, нагретых за день солнцем, и слабо — табаком, хотя отец не курил уже пятнадцать лет. Запахи держатся дольше привычек, подумала Цзинлэй. Она знала это по клинике: от некоторых людей пахнет их старой раной, даже когда рана зажила.

— Ну, — сказал Чжэньхэ на светофоре. — Как тебе второй день?

— Хороший, — сказала она.

— Хороший, — передразнил он без злости. — У тебя всё хорошее. Скажи «отличный» хоть раз, а?

— Отличный.

— Врёшь, — сказал Чжэньхэ с удовольствием. — Но спасибо. — Он погнал дальше и через пару кварталов добавил уже без шутки: — Ты сегодня у Юй Мэй хорошо сказала. Про чистый угол. Я смотрел на тебя и думал: когда это моя дочь стала такой взрослой, что умеет говорить с чужим горем? Ты ведь не боишься его. Горя чужого. Это редкость, дочь. Большинство боится — и потому либо грубеет, либо сюсюкает. А ты сидишь рядом и говоришь ровно. Это… — он подбирал слово, — это профессионально. И по-человечески одновременно. Редко так бывает вместе.

Цзинлэй смотрела в окно. За стеклом плыл вечерний Шанхай — огни, люди, мопеды, весь этот бесконечный город, который она знала с двух сторон: с этой, светлой, и с той, где она работала по ночам.

— Ляо учил, — сказала она. — Он говорил: не смотри на боль. Смотри на то, что за болью. Боль — это туман, а за туманом всегда что-то стоит.

— Мудрый человек, — сказал Чжэньхэ. — Всё-таки жаль, что он уехал. — Он помолчал. — Знаешь, я сегодня у причала думал: вот ведь как. Я это дело веду три месяца, хожу кругами,

а сегодня за один день — зеркало, тумбы, камеры, инженер. Четыре зацепки за день. Знаешь, почему?

— Почему?

— Потому что со мной была ты, — сказал он просто. — Свежий глаз. Я же говорил: это единственное, что нельзя купить.

Она не ответила. Он и не ждал ответа — он редко ждал ответов на такие вещи, он говорил их и ехал дальше, и молчание дочери читал как согласие, как читал всегда, двадцать лет. А она сидела и думала: четыре зацепки за день. Три из них я тебе дала сама, отмерила и положила в ладонь, как корм. А четвёртую — инженера Гу Байчуаня — я заберу сегодня же вечером, и о ней ты не узнаешь никогда, потому что за этим инженером стоит клан Чжао, а там, где Чжао, там заканчивается твоя работа и начинается наша.

Ужин был поздний и тихий. Ваньжу приготовила рыбу на пару и рис с овощами — лёгкое, «после вашего выезда, чтоб не отваливались», — и всё время, пока Чжэньхэ рассказывал про день (про зеркало он рассказывал с присвистом, про кнехты — с жаром, про Цзя Лэ — со смехом: «Он фотоаппарат ронял два раза, представляешь?»), Ваньжу слушала и раскладывала рыбу по тарелкам, и в её «да?», «вот как?», «и что дальше?» был такой идеальный, выверенный интерес, что Цзинлэй, которая знала, сколько за ним стоит, вдруг подумала: мать не притворяется. Вот в чём страшная правда об этом доме. Мать слушала по-настоящему. Ей правда было интересно, как прошёл его день, потому что это был день её мужа, а мужа она любила. И одновременно, теми же ушами, той же головой, она собирала каждое слово в сводку. Одно не отменяло другого. Вот чему Цзинлэй научилась у неё без уроков: любить и работать одними и теми же руками.

— А завтра, — сказал Чжэньхэ, доев рыбу, — юбилей. Ваньжу, я вот думаю: может, мне тост подготовить? Серьёзный?

— Подготовь, — сказала Ваньжу. — Только без «врага не пожелаю». И короткий. Мой отец любит короткие.

— Подарок покажи, — попросила Цзинлэй.

Чжэньхэ с важным видом сходил в прихожую и вернулся с продолговатым свёртком, который развернул на столе, как рапорт: набор для чайной церемонии, тёмная глина, шесть пиал, чайник с потёком, который был не браком, а «обжигом в золе», — он это объяснил гордо, слово в слово как продавец в лавке на старой улице.

— Твой дед, — сказал он, — единственный человек, кого я знаю, кто пьёт чай так, будто это работа. Вот ему инструмент. — Он свернул набор обратно, бережно, и добавил уже тише: — Я в нём не разбираюсь, дочь. Продавец говорил двадцать минут, я понял одно: хорошая вещь. Твоя мать говорит то же самое, но матери я верю бесплатно, а этому пришлось заплатить, чтоб убедился.

— Отец оценит, — сказала Ваньжу. — Он любит, когда дарят не понимая. Говорит: честная глупость лучше вежливой лести.

— А это он правильно говорит, — серьёзно кивнул Чжэньхэ, и Цзинлэй снова, в который раз за этот вечер, увидела, как два мира её семьи касаются друг друга вот так — краями, через стол, через чайник в зольном обжиге, — и не слышат, как звенит в этом касании пустота между ними.

— Короткий, — согласился Чжэньхэ. — «Уважаемый тесть. Семьдесят лет. Хороших, — он поднял палец, — было не меньше тридцати пяти. За них и выпьем».

Цзинлэй не выдержала и улыбнулась — по-настоящему, уголком рта. Ваньжу увидела и улыбнулась тоже, и на секунду за столом стало очень просто, очень тепло, как бывает в домах, где никто ни от кого ничего не прячет. Секунда прошла. Они прошли её все трое вместе, и никто не подал виду.

Позже, когда Чжэньхэ ушёл в кабинет — «на полчаса, подготовить тост», — Цзинлэй проходила мимо и видела через приоткрытую дверь: он сидел за столом, и тоста перед ним не было, а была рамка с фотографией, которую он держал в руках, обеими, глядя на неё в свете настольной лампы. Она знала эту фотографию не по кабинету — по его рассказам: семья в парке, год какой-то ранний, она ещё маленькая сидит у него на плечах, мать стоит рядом, и все трое смеются — все трое, даже она. Она не помнила, чтобы смеялась в детстве так, как на этой фотографии. Может быть, и не смеялась. Может быть, фотограф поймал секунду. Фотографии умеют лгать лучше людей: они лгут один раз и навсегда, а людям приходится лгать каждый день.

Чжэньхэ поднял глаза, увидел её в дверях и не смутился — он никогда не смущался сентиментальности, в этом тоже была его сила.

— Смотрю на вас, — сказал он. — Завтра семьдесят лет её деду. А мне вот скоро пятьдесят. Время идёт, дочь. — Он поставил рамку на стол, на самое видное место, рядом с пустым бланком для тоста. — Иди спать. Завтра праздник, а послезавтра — понедельник. У меня на понедельник большие планы: Вэя буду гнуть про ночное наблюдение. Спи.

— Спокойной ночи, пап.

— Спокойной, эксперт Линь.



Линь Чжэньхэ

В клинику её вызвали в десятом часу.

Хань подал машину у ворот через четыре минуты после звонка — он всегда подавал быстро; она ни разу не спросила, где он ждёт, а он ни разу не сказал. В клинике горел весь свет — сигнал «тяжёлый», который Сяо Мэй выставляла, включая верхний и в операционной, и в коридоре, и над крыльцом.

Пациента привезли двое — такие же, как он, грузчики, в оранжевых жилетах, перепачканных чем-то чёрным. Пациент — мужчина лет сорока, огромный, сейчас бледный до серости

— лежал на их собственных руках, потому что носилки ждать было нельзя: правая рука у него была перебита в предплечье, не порезана — именно перебита, со смятыми тканями, и повязка из чьей-то рубашки уже насквозь пропиталась тёмным.

— Кто-то трос отпустил, — сказал старший из грузчиков, запыхавшись, пока они перекладывали его на стол. — Подшипник крана клинанул, трос сорвался, его как плетью… В больницу нельзя, у него регистрации нет, он из Ганьсу, по карточке дядьки работает, доктор, вы уж… мы заплатим, у нас есть…

Цзинлэй уже резала повязку.

— Сяо Мэй, — сказала она. — Набор, второй. Кровь — не знаем, ставь нулевую. Лихэ — вон, тебя тут кровь не устроит. Воды принеси людям и сядь в приёмной.

Она работала час и сорок минут.

Рука была плохая — хуже, чем выглядела: лучевая артерия перебита, нерв задет, сухожилие размолото. Другой врач в другом месте, в другом мире, сказал бы: ампутация, и был бы прав по учебнику. Цзинлэй шила. Она шила артерию под лупой, стежок к стежку, и мир сужался до сосуда, до иглы, до того места, где кровь должна была пойти снова, — и пошла, сначала слабо, потом ровно, и пальцы у мужчины из серых стали розоветь, сначала один, потом все.

Когда она закончила и выпрямилась, в операционной было тихо, и Сяо Мэй молча забрала у неё из рук инструмент, и молча же сунула ей в ладонь стакан кофе — она заваривала его тут, в клинике, на маленькой кофеварке, и кофе был плохой, и это не имело значения.

Пока она шила, Сяо Мэй успела доложить день — тихо, между делом, не отнимая рук: приём был обычный, двенадцать человек, касса сошлась; Фармацевт приходил, рука заживает чисто, просил передать «доктору с золотыми руками» пакетик жасминового чая — «я знаю, что вы не пьёте, доктор, я передал, он настоял»; Лихэ весь день промыл инструментарий и дважды пересчитал бинты, потому что «скучно без начальства». И ещё — Сяо Мэй сказала это в самом конце, самым ровным голосом, каким говорят о том, что важно:

— Приходил человек. Днём. Спросил, принимаете ли вы по страховке. Я сказала — нет, мы частные. Он постоял, посмотрел на доску с ценами, спросил, работает ли тут ещё тот доктор, что зашивал его брату руку в прошлом году. Я сказала: не знаю никакого брата. Он ушёл. Молодой, в клетчатой рубашке. Руки у него были чистые, а туфли — казённые, полицейские, с такой подошвой. Я помню, ты говорила: смотри на туфли.

Цзинлэй стояла с остывающим кофе. День подходил к концу, и в третий раз за этот день перед ней вставало одно и то же слово: Дэн. Утром — его вопрос про район клиники. Вечером — «завтра семейное торжество». Ночью — человек в клетчатой рубашке с казённой подошвой, который спрашивает про «брата, которому зашивали руку». Ацзе. Он искал Ацзе — того самого, зашитого в первую ночь, чей брат-бригадир торговался за скидку за тишину.

— Ты правильно сказала, — ответила она. — Брата не было. И с этого дня правило новое: прошлогодних пациентов не было вообще. Ни у кого. Клиника открылась в марте этого года. Раньше здесь была булочная.

— Булочная, — повторила Сяо Мэй без улыбки, записывая это в себя, как она умела. — А пахло всегда антисептиком.

— Вот именно, — сказала Цзинлэй. — Пахло.

— Жить будет, — сказала Цзинлэй грузчикам в коридоре. — Руку сохранили. Работать будет через полгода, не раньше. Грузчиком — вряд ли. Кто-то за этот трос отвечает?

Грузчики переглянулись. Старший — тот, что говорил, — помялся и сказал:

— Доктор, вы уж не обессудьте… Трос-то на шестом причале старый. Мы мастеру говорили, мастер — в администрацию, администрация… — он махнул рукой. — Всем некогда, доктор. Всем некогда, пока кого-нибудь не убьёт.

— Как мастера зовут?

— Ши Гэн. Бригадир шестого. — Грузчик сплюнул, аккуратно, в раковину, а не на пол — в клинику он вошёл как в храм. — Только вы ему не говорите, что это мы…

— Я никому ничего не говорю, — сказала Цзинлэй. — У меня тут немая клиника. Привозите его завтра вечером, на перевязку. Деньги — потом, когда встанет.

Пациент очнулся, когда она уже снимала перчатки, — не открыл глаза, а просто пришёл в себя, как приходят в себя сильные люди: без стона, сначала пальцы, потом веки. Увидел её — молодую женщину в залитом халате, — и первое, что он сказал, было:

— Рука?

— На месте, — сказала Цзинлэй. — Слушать будет, если будешь слушать меня. Полгода никаких тросов.

— А деньги? — спросил он. Не «сколько я должен». А именно так — с тоской человека, для которого деньги это не сумма, а дыра. — Я ж не работаю теперь. Дядькина карточка… мне ж из бригады теперь…

— Тише, — сказала Цзинлэй. — Деньги потом. А пока у меня к тебе дело. — Она пододвинула стул и села — просто, как садятся к постели в четыре утра, когда все формальности уже не работают. — Ты на шестом причале двенадцать лет. Я туда никого своего не имею. Ты мне не будешь ничего воровать, никого стучать по-настоящему, ничего опасного. Ты мне будешь просто помнить, что ты видишь: кто ходит, что грузят, кого мотают по ночам. Раз в неделю будешь привозить это сюда, на перевязку. За лечение не платишь. Когда встанешь — скажу, чем ты мне ответишь за полгода.

Пациент смотрел на неё долго, серыми, усталыми глазами человека, который всю жизнь платил за всё сразу и наличными.

— Ты кто такая? — спросил он наконец. Не грубо — с настоящим, честным интересом.

— Доктор, — сказала Цзинлэй. — Который тебе сегодня руку сохранил. Имя моё ты забыл ещё в машине.

Он посмотрел на свою руку в лубке, подумал, кивнул — один раз, как рубят:

— Договорились, доктор.

Вот так, думала Цзинлэй, поднимаясь по лестнице наверх, за грузчиками, — вот так это делается: не деньгами и не страхом, а рукой, которую ты вернула. Шестой причал у неё теперь был. С глазами и с благодарностью.

Когда они ушли, благодаря вполоборота, сгорбленные, она стояла в пустой приёмной и допивала плохой кофе. Ши Гэн, бригадир шестого причала. Она слышала это имя сегодня второй раз: днём — в порту, от начальника смены, как жалобу про ночные «инвентаризации»; теперь — вот так, на руках у чужих людей, вместе с перебитой рукой и старым тросом. Она не знала ещё, что в третий раз это имя прозвучит сегодня же, в девять вечера, в другом конце города, в свинцовом телефоне её матери.

Она записала его в свою картотеку. И ещё одну вещь записала — теплую, нерабочую: грузчиков у неё в клинике было трое за сегодня, и все трое смотрели на неё так, как смотрят люди, которым в этом городе больше некуда пойти. Клиника была немая. О таких местах говорят. Не врагам — свои узнают сами, без слов, — а вот таким, как эти трое. Она вдруг поняла, что за два года клиника стала чем-то большим, чем крыша для клановых раненых. Она стала местом, куда шёл низ этого города — те, кому некуда. И это тоже была власть. Тихая, грязная, настоящая.

День Ваньжу прошёл в двух зданиях, как проходили все её дни.

Первое — редакция: настоящая, с настоящим этажом, настоящими столами и настоящим запахом кофе и бумажной пыли, где её знали как «Ваньжу-цзе из отдела расследований, она почти всегда в поле». В поле она и была — двадцать два года. Она подписала на планёрке две темы стажёрам, поправила кому-то заголовок, выпила с главным редактором чашку чая, обсу-

див его больную поясницу, и ушла в одиннадцатом, сославшись на «встречу с источником». Источник ждал её в другом здании, в том, что числилось логистической компанией, и звали его Сун.

У неё была и настоящая работа — и это было важнее всего: легенды умирают, когда их не подкармливают правдой. В этом номере выходил её материал про речной порт — экономическое обозрение на четыре полосы: графики грузооборота, интервью с начальником логистики, два стивидора, один диспетчер на пенсии. Она готовила его честно — честнее, чем требовал жанр: цифры сверяла дважды, а цитату начальника про «беспрецедентную загрузку» снабдила примечанием про спад в четвёртом квартале. Главный редактор любил её именно за это: Ваньжу-цзе не приносит сенсаций, Ваньжу-цзе приносит материалы, за которые не краснеют через год. Он не знал — и никогда не узнает, — что этой же аккуратностью она двадцать два года подряд подписывала совсем другие сводки.

Стажёрка, новенькая, с глазами навыкате, подошла к её столу с блокнотом и задала вопрос, который все стажёрки задают раз в год:

— Ваньжу-цзе, а как вы заставляете людей разговаривать?

— Я никого не заставляю, — сказала Ваньжу, не поднимая глаз от гранок. — Люди не разговаривают с газетой. Люди разговаривают с тем, кто пришёл во второй раз, помнит, как зовут их детей, и не пишет того, о чём просили не писать. — Она подняла глаза. — И ещё. Если человек врёт тебе в мелочи — не спорь. Запомни. Мелочи — это гвозди, на которых висит всё остальное.

Стажёрка записала всё, до слова «гвозди». Ваньжу смотрела, как она записывает, и думала, что девочка лет через пять станет хорошим репортёром, если её не сожрут; и что из всего, чему её когда-то учил отец, легче всего передать людям именно ремесло — и невозможно передать то, зачем оно.

В отделе её просили взять ещё и светскую хронику субботы — «там большой юбилей в „Нефрите“, семьдесят лет старому Линю, половина города будет». Ваньжу сослалась на занятость и порекомендовала стажёрку: пусть учится.

С ним они говорили коротко — о встрече среды. «Цапля» подтвердил через своих: будет в чайной на Юньнаньской, в полдень, как обычно. Сун предлагал взять его там же — жёстко и быстро. Ваньжу отказалась.

— Человек, который покупает маршруты, — это лапа, — сказала она. — Нам нужен локоть. Спросите его вежливо, за чаем, как старого знакомого: кто у Чжао ведёт ночные грузы на восьмом причале. Если скажет — отпустить с подарком. Если нет — отпустить без подарка и следить, к кому он побежит. Он побежит. Испуганные лапы всегда бегут к локтю.

Сун записал. Сун всегда записывал, и бумагу потом сжигал.

В шесть вечера позвонил отец — настоящий, не Сун. Линь Чуншань звонил дочери редко и всегда начинал с середины фразы, как человек, привыкший, что его слушают с полуслова:

— Завтра в шесть. Ты сидишь слева от меня. Цзинлэй — справа. Чжао Миндао будет с женой, посадили его за третий стол, дальше некуда. Он просился ближе. Я не пустил.

— Правильно сделал, — сказала Ваньжу.

— Он прислал подарок заранее. Вазу. Династия что-то там, по бумагам красиво. — Чуншань помолчал, и в паузе слышалось, как он думает, — он думал всегда вслух, паузами. — Ваза — это сосуд. Сосуды дарят, когда считают тебя ёмкостью. Я ему не ёмкость. Но вазу оставим, вазы не виноваты.

— Отец, — сказала Ваньжу, — завтра за столом не говори с ним про набережную.

— Я? — В голосе старика прозвучало оскорблённое удивление. — Я завтра именинник. Именинник не говорит о делах. Пусть он говорит. Он любит говорить. — Пауза. — Ваньжу. Твой муж. Он завтра будет в том же зале, что и Чжао. Ты уверена, что это хорошая мысль?

— Муж — единственный человек в зале, про которого Чжао решит, что он не опасен, — сказала Ваньжу. — Пусть решает. Спи спокойно, отец. Завтра твой день.

Она положила трубку и долго смотрела на город за стеклом. Семьдесят лет главе клана Хэйфан. Тридцать персон в зале, из которых человек шесть придут просто поесть, а остальные — посмотреть, кто сидит рядом с главой. Справа будет сидеть её дочь. Весь город, весь их город, прочитает это за одну ночь правильно: вот наследница. А левее будет сидеть она сама, и это тоже прочтут. Она подумала о том, что Чжао Миндао прочтёт это третьим, и что Чжао Миндао ничего не читает просто так.

Ваньжу получила имя раньше, чем дочь закончила шить руку.

Сообщение от Суна пришло в девять вечера, на свинцовый телефон, и было коротким даже по его меркам: «Шестой причал, июнь. Дежурил бригадир Ши Гэн, внешнее кольцо, у нас с девяностых. Деньги Чжао — три перевода через посредника, подтверждено. Ждёт приказа».

Ваньжу сидела в своём кабинете — в настоящем кабинете, в здании, которое числилось логистической компанией, — и смотрела на город. Приказа она не дала сразу. Ши Гэн был свой, девяностые, старая гвардия, — а значит, его нельзя было просто убрать: старую гвардию убирают только на глазах у всех, с объяснением, или не трогают вовсе. Но продал он клан за три перевода, и это было уже не её решение — это было решение отца, а отец таких решений не пересматривал. Она подумала о том, что напишет дочери завтра, после юбилея. Подумала о том, что Ши Гэн — бригадир, а значит, у него есть люди, и люди эти спросят. И потом она подумала о муже — о том, как он сегодня пришёл домой счастливый, с горящими глазами, рассказывая про зеркало и кнехты, — и написала Суну ответ:

«Ши Гэна не трогать до моего слова. Следить. Разузнать, кто давал ему команды по причалу в ночь, когда пропал Жэнь. И по инженеру Гу Байчуаню — заявка о камерах, май. Кто оплатил».

Она уже знала про инженера. Дочь сообщила ей с дороги, тремя строками: камеры сняты в мае, подписал главный инженер, Гу Байчуань, двенадцать лет в порту, до этого Гуанчжоу. И ещё дочь сообщила второе, и от этого второго у Ваньжу до сих пор стоял холод между лопаток: «Опер Дэн. Ведёт свою ведомость по делу. Знает про юбилей деда, хотя в отделе об этом не говорили. Выясни, на кого он работает».

Полицейский, который знает про семейные дела клана Хэйфан то, о чём не говорят в полиции. Ваньжу перечитала эти строки дважды. Двадцать два года она жила в этом городе на двух сторонах сразу и знала: самые опасные люди — не те, кто смотрит на тебя. Самые опасные — те, кто смотрит мимо тебя, но записывает.

Она набрала Суну третью строку: «И Дэн. Имя, биография, связи. До среды».

До среды — потому что в среду была встреча с «Цаплей», а потом была суббота, а потом была жизнь, и жизнь эта, вся целиком, держалась теперь на двадцатилетней девушке, которая сегодня вечером зашивала кому-то руку в подвале и ничего об этом не расскажет за ужином, — и на том, сумеет ли Ваньжу успевать за ней. За собственной дочерью. Впервые за двадцать лет она ловила себя на том, что бежит следом.

Прежде чем уйти, она открыла сейф и достала список — бумажный, единственный экземпляр: тридцать фамилий субботнего стола, написанные её рукой, для неё одной. Она читала его, как другие читают прогноз погоды. Чжао Миндао просился ближе — и получил третий стол: отец сделал это без единого грубого слова, просто рассадил город так, как считал правильным, и город это прочтёт. Второй стол — вот на кого стоило смотреть: там оказались люди, которых Чжао хотел бы видеть дальше от виновника торжества, и люди, которых он хотел бы видеть ближе к себе. Кто-то из них завтра будет улыбаться чуть шире, чем следует. Ваньжу переписывать ничего не стала — она никогда ничего не помечала. Она просто запомнила лица по именам, а в субботу прочтёт имена по лицам. Этому языку она училась с шести лет, за дру-

гим таким столом; этому языку её дочь научилась сама, без единого урока, — просто росла рядом, и Ваньжу до сих пор не решила, благодарить за это судьбу или выторговывать у неё прощение.

Она убрала список в сейф, погасила свет и постояла в темноте, глядя на огни порта вдали. Завтра был день её отца, и весь завтрашний день она будет просто дочерью за праздничным столом — самая трудная из всех её ролей, и единственная, к которой она готовилась всю жизнь, не надеясь выучить её до конца.

Домой Цзинлэй вернулась за полночь. В доме было темно и тихо — отец спал, он завтракал рано даже в субботу; в коридоре горел ночник, который мать зажигала, когда знала, что дочь вернётся поздно.

Сначала — ноутбук.

Она села за стол, поставила перед собой розовый корпус с котом и несколько секунд просто смотрела на него. Наклейка была облезшей по краям — кот мультяшный, с чашкой, — и облезла она не от времени, а от пальцев: кто-то годами проводил по этому коту большим пальцем, открывая и закрывая крышку. След привычки. Цзинлэй достала телефон и сфотографировала ноутбук со всех сторон: сверху, снизу, шарниры, разъёмы. Чистильщик в ней фиксировал всё до первого прикосновения; дочь в ней знала, зачем: если ноутбук вернётся к Юй Мэй хоть на одну царапину иным, сестра это увидит. Не обвинит — просто увидит.

Блок питания был родной, со шнуром, перетянутым изолентой у самого разъёма, — девичья экономность: лечить, а не менять. Цзинлэй включила его в розетку, дождалась, пока оживёт индикатор, и подняла крышку. Пароль она знала — Юй Мэй назвала его, не спрашивая, зачем: день рождения, у сестёр один на двоих, с разницей в три года. Экран вспыхнул, и на неё с набережной, из лета позапрошлого года, смеясь на ветру, смотрели две девочки с одинаковыми скулами.

Она работала медленно. Это был не обыск — обыск она умела делать за двенадцать минут, по хешам и датам. Это было другое, и она позволила себе это другое, потому что ночь позволяла и потому что Юй Фань заслужила, чтобы её читали, а не сканировали.

Папка «учёба»: курсы английского, три уровня, сертификаты, сканы конспектов — ровный старательный почерк на полях, слово logistics обведено в рамку и подписано: «наша логистика, смешно». Папка «работа»: графики смен, циркуляры администрации, таблица приходов барж — всё открытое, всё такое, что висит на стенде любой диспетчерской и не стоит бумаги, на которой напечатано. Папка «фото» — и здесь она притормозила.

Внутри лежала папка «вышка». Четыреста с лишним файлов, четырнадцать месяцев, имена — даты. Юй Фань фотографировала вид со своей вышки каждый день: рассветы, туман, журавлиные стаи кранов над рекой. Восьмой причал входил в кадр часто — просто потому, что был под окном. Цзинлэй перелистала назад, к апрелю. В апрельских кадрах над восьмым причалом, на мачтах, стояли камеры — она приблизила: серые коробки на кронштейнах, объективами на воду. В кадрах после середины мая мачты были голыми.

Капитан Ло говорил правду, и теперь у этой правды были дата и файл. Цзинлэй не скопировала ни одного кадра — копии делают копии, а копии имеют свойство находиться. Она достала бумажный блокнот — мать учила: бумага никуда не шлёт отчётов — и выписала три даты. Потом закрыла папку.

Оставалось одно: «маме.txt», четыре килобайта.

Она открыла. Три абзаца. Юй Фань писала матери, что доползла до четвёртого уровня английского, что на вышке слышно, как река гудит в туман, что оттуда видно, где река поворачивает, и что она, мама, должна это увидеть своими глазами — «я вам таких видов накуплю, что—».

На этом текст заканчивался. Не на точке — на тире. Она собиралась дописать его дома, вслух, на кухне, между пельменями.

Цзинлэй сидела в темноте, и экран светил ей в лицо. За стеной спала её собственная мать — живая, настоящая, та, что утром поправила ей воротник и сказала про следы. Цзинлэй аккуратно, двумя пальцами, опустила крышку ноутбука — так закрывают глаза.

Потом она сделала то, что делала всегда: проверила логи. Профессионализм не отпускал даже здесь. Технарь из отдела листал всё неделю назад — тщательно, по порядку, и нашёл то же, что нашла она: ничего. Никто не трогал ноутбук ни до милиции, ни после. Девочка не была ничьей. У неё просто было окно.

И вот про это окно стоило помнить всерьёз. Люди, которые присылают «профсоюзных» с тросовыми руками, не выдумывают угрозу — они видят окно и знают, что окно смотрит в обе стороны. Нити в ноутбуке не было и быть не могло. Нить была в другом: в том, что девочка могла сказать за кухонным столом — сестре, между прочим, одну фразу, одно имя, не придав этому значения. Юй Мэй вспомнит эту фразу рано или поздно. Кто-нибудь постарается, чтобы вспомнила. Надо, чтобы в тот день Юй Мэй позвонила ей, Цзинлэй, — а не кому-нибудь ещё.

Она сложила ноутбук в чехол, застегнула молнию, поставила чехол у двери: в понедельник он вернётся в отдел, и она попросит отца, чтобы сестре его отдали быстрее, чем ползёт протокол. Мёртвым не нужны вещи. Вещи нужны живым — чтобы было за что держаться.

Потом — сообщения. Два, как она и решила ещё в отделе.

Первое ушло Суну, длиннее обычного: «День второй. Выезд со старшим Линем: стоянка, свидетельница Юй Мэй, порт. По порту: на восьмом причале ночные баржи мимо ведомости, минимум с мая; камеры восьмого сняты по заявке главного инженера Гу Байчуаня (12 лет в порту, до этого Гуанчжоу); бригадир шестого Ши Гэн мотается администрацией по ночам. Вывод: восьмой причал — грузовая нитка Чжао, построена долго, отец вышел на неё сегодня. По ноутбуку Юй Фань: чист. Девочка не была ничьей — просто у неё было окно. На её апрельских фото камеры восьмого ещё стоят; после середины мая — голые мачты. Даты у меня, на бумаге. Плохо: отец выбил у Вэя ночное наблюдение на восьмом, старт — среда, двое, без техники. В среду же вы встречаете „Цаплю“. Нельзя, чтобы эти нити сошлись. Предлагаю: встречу с „Цаплей“ сдвинуть или перенести место; наблюдение я постараюсь развернуть на ночных грузчиков, а не на воду. По клинике: сегодня приходил человек с казённой подошвой, спрашивал прошлогоднего пациента. Это Дэн или люди Дэна. Жду его биографию. Клиника отныне „открылась в марте, раньше тут была булочная“».

Второе — короче, тому же Суну, но другим жирным мысленным шрифтом, отдельным пунктом: «По Жэнь Дагуану. Имя бригадира подтверждаю своим источником: Ши Гэн. Не трогать его без меня. У меня теперь есть свой человек на шестом причале — грузчик, перебитая рука, будет на перевязках. Не пугать, не проверять, это мой».

Она перечитала оба, исправила одну запятую — пунктуация была её тайной аккуратностью, она не выносила кривых строк даже в шифрованных сообщениях, — и отправила. Телефон погас. Сун ответит не сразу: Сун отвечал, когда было что сказать, и это молчание было лучшим из его качеств.

На столе в её комнате стояла чашка — пустая, чистая, ожидающая, — и рядом, аккуратно, лежал свёрток: завтрашнее платье, отглаженное, тёмно-красное, почти чёрное, и записка почерком матери, ровным и быстрым:

«Завтра в шесть. Платье твоё. Дед ждёт тебя к столу рядом с собой — я сказала, что ты работала всю неделю, и он сказал: „Правильно“. Он редко так говорит. Спи».

Цзинлэй постояла над запиской. Потом сняла пиджак, повесила его на спинку стула, рядом с завтрашним платьем, — два тёмных силуэта в тусклом свете, похожие, как близнецы: одно для склада, одно для праздника. Завтра она будет сидеть рядом с дедом, пить чай, который ненавидит, улыбаться людям, которых боится половина города, и смотреть на Чжао Мин-

дао в его лиловом пиджаке — на человека, который прислал ей труп с флешкой и «небольшую просьбу», и который завтра будет стоять в трёх метрах от её отца и пить за здоровье её деда.

А в среду будет «Цапля». А потом будет понедельник, и отец пойдёт гнуть Вэя про ночное наблюдение, и ей надо будет опередить его на полшага. Всегда на полшага.

Она легла не раздеваясь — на пять минут, «просто полежать», — и уснула раньше, чем успела раздеться, и спала, как всегда, без сновидений. За окном, над спящим городом, над портом, где мёртвым журавлём стоял восьмой причал, над домом Юй Мэй, где на столе ждала лишняя чашка, над всем этим медленно, по-июньски, светлело небо — на два часа раньше, чем кто-либо в этом городе был готов к новому дню.

Глава 3. Тридцать персон



Линь Цзинлэй. Семидесятилетие Линь Чуншаня

Суббота началась без будильника — Цзинлэй проснулась в шесть двадцать, как просыпалась всегда, и несколько секунд лежала, глядя, как свет за шторой меняет решение: ночь закончилась, день начался. День рождения деда.

Семьдесят лет Линь Чуншаню. Тридцать персон в зале. Один Чжао Миндао за третьим столом.

Она поднялась, сделала зарядку — медленно, до последнего движения, потому что день предстоял долгий и в нём нельзя будет ни разу потянуться, — и спустилась к завтраку ровно к семи, как в будни. На кухне уже пахло не оладьями, а чем-то торжественным и сложным: Ваньжу с самого утра готовила «на сдачу» — так она называла свои выходные подвиги, — и на столе стояли маленькие пирожки с четырьмя начинками, по восемь штук каждого сорта, выстроенные рядами, как роты.

— Садись, — сказала Ваньжу, не оборачиваясь. — Отец уже сходил за цветами и вернулся. Сейчас он наверху, уговаривает свой пиджак.

— Пиджак сопротивляется?

— Пиджак сдаётся, — отозвался сверху голос Чжэньхэ. — Но медленно! Как Вэй!

Цзинлэй села. Ваньжу поставила перед ней тарелку, чашку кофе — настоящего, из домашней машины, субботней, — и села напротив с собственной чашкой чая. Секунду они молчали — мать и дочь, в тихой кухне, в последнее спокойное утро недели.

— Вчера ты вернулась за полночь, — сказала Ваньжу. — Я слышала, как ты закрыла дверь. Рука того грузчика?

— Перебита предплечье. Шила час сорок. Жить будет, работать — вряд ли грузчиком. — Цзинлэй отпила кофе. — У меня теперь есть свой человек на шестом причале.

— Знаю, — сказала Ваньжу. — Сун мне доложил твоё сообщение раньше, чем ты допила свой вечерний кофе. Хорошая работа. — Она помолчала, глядя на дочь поверх чашки. — Быстрая. Мне нравится, что ты не тянешь с выводами. Мне не нравится только одно: этот грузчик увидел тебя в деле. Ты понимаешь, что это значит.

— Он увидел доктора, который спас ему руку за бесценок, — сказала Цзинлэй. — Таких не сдают, мам. Таких боятся потерять.

— Таких тоже сдают, — мягко поправила Ваньжу. — Просто дороже. — Она поставила чашку. — Ладно. Сегодня не об этом. Сегодня ты внучка. Весь день — только внучка. Слышишь меня? Никакой работы в зале. Работа будет после.

— А после будет? — Цзинлэй подняла глаза.

Ваньжу смотрела на неё ровно, и в этом ровном взгляде дочь прочла всё, что мать не собиралась говорить на кухне при отце.

— После будет, — сказала Ваньжу. — Обедня готова. Сун закончил вчера, в одиннадцатом часу. Двадцать лет книг Чжао Миндао лежат теперь у нас в рукаве, и сегодня твой дед будет играть ими, как картами. — Она чуть улыбнулась — уголком рта, почти как она. — Ты когда-нибудь видела, как старики играют карты, от которых зависят причалы?

— Нет.

— Сегодня увидишь. Только смотри молча. Это тоже урок, и он дороже всех твоих курсов криминалистики вместе взятых.

Сверху спустился Чжэньхэ — в брюках от костюма и в майке, с пиджаком на руке и с выражением человека, который только что подписал с пиджаком перемирие. Он положил пиджак на спинку стула, сел, взял пирожок, прожевал, проглотил и сказал:

— Тост я выучил. Сорок секунд. Засекал.

— Засекай ещё раз, — сказала Ваньжу. — После второй чашки чаю все говорят длиннее. Держи запас.

— Хороших было не меньше тридцати пяти, — торжественно произнёс Чжэньхэ. — А остальные тридцать пять мы ему сегодня надарим. — Он хихикнул, довольный собой, и тут же

посерьёзнел: — Цзинлэй. А ты правда будешь сидеть справа от деда? Это же… — он пошевелил пальцами, подбирая слово, — это же место наследника, дочь. На таких обедах я только в кино бывал.

— Это место внучки, — сказала Ваньжу ровно, не поднимая глаз от чая. — У старика одна внучка. Всё остальное — кино, Чжэньхэ. Не смотри его сегодня. Смотри на людей.

— Я на людей и смотрю, — обиделся он. — Я следователь, я профессионально на людей смотрю.

— Вот и смотри, — согласилась Ваньжу. — Только не допрашивай. Это не выезд. Это семья.

Цзинлэй ела пирожки и слушала их, и думала о том, как странно устроен этот дом: мать только что сообщила ей, что клан вскрыл двадцать лет чужой бухгалтерии, — и сообщила тем же тоном, каким попросила бы передать соль; отец смеётся над своим тостом и не знает, что сидит за одним столом с двумя людьми, для которых его юбилейный тесть — вовсе не «строгий папа с чаем», а человек, от одного кивка которого в этом городе тонут баржи. Оба мира завтракали вместе. Оба были настоящие. Она уже давно перестала спрашивать себя, какой из них настоящей, — оба, и в этом была вся её жизнь.

В клинику она заехала в восемь — на полчаса, пока дом просыпался окончательно и пока мать решала судьбу причёсок.

Грузчик ночевал спокойно — Сяо Мэй вышла в субботу рано, посмотрела его ещё до её приезда и доложила коротко, как учили: температура нормальная, рука розовая, швы сухие, пациент ел, пациент спал, пациент спрашивал, не «настоящий» ли доктор будет сегодня.

— Скажи ему: настоящий доктор сегодня идёт к деду на день рождения, — сказала Цзинлэй, снимая повязку. Рука выглядела честно: красная, злая, живая — воспаление в норме, как положено на вторые сутки. — Вечернюю перевязку сделаешь сама. Всё то же, что вчера, только без меня: раствор, повязка, контроль пальцев. Если мизинец к вечеру послушается хуже — звонишь, не ждёшь. Завтра я посмотрю сама.

— Сама, — кивнула Сяо Мэй, и по её лицу было видно, как эта «сама» встаёт внутри неё памятником. — А если спросит, почему не вы?

— Скажи правду: доктор на семейном торжестве. — Цзинлэй закрепила повязку обратно. — Правда, Сяо Мэй. У нас теперь булочная, а в булочной всё честно, кроме ассортимента. — Она помолчала. — Тот человек больше не приходил?

— Нет. — Сяо Мэй покачала головой, и голос у неё стал чуть ниже. — Я стала замечать, доктор. Раньше не замечала, а теперь замечаю. Всех, кто стоит у окна дольше, чем читают ценник. Кто смотрит на дверь подвала. Вчера стоял один, минуты три. Потом ушёл. Обычный такой, как все.

— Как все, — повторила Цзинлэй. — Запомнила лицо?

— Очки, куртка серая. Усы редкие. — Сяо Мэй сглотнула. — Я записала. Время, рост. Вы ж учили.

— Умница. — Цзинлэй положила ей руку на плечо — она редко прикасалась к людям, и обе знали цену этому жесту. — Не бойся их. Они смотрят на дверь, потому что дверь — это всё, что они видят. Дом, который смотрят, уже проиграл; дом, который смотрит в ответ и записывает — нет. Записывай всех. Каждого. Даже тех, кто придёт дважды, — особенно тех, кто придёт дважды.

Лихэ она застала за странным занятием: он полировал ручку входной двери — субботним утром, золотыми волосами на ветру, напевая. Увидел её и вытянулся:

— Легче на подъём! Я тут решил — раз у нас теперь булочная, пусть хоть ручка блестит, как у кондитерской!

— У булочной не блестит ручка, Лихэ, — сказала Цзинлэй, проходя мимо, и не удержалась от того, чтобы не оставить его с этой загадкой до понедельника. — У булочной руки липкие. Иди зашнуруйся.

Платье привезли в десять.

Не курьер — человек Суна, в сером костюме, с чехлом, который он держал так, как держат вещи, за которые отвечают собственной шеей. Ваньжу приняла его в прихожей, расписалась в жёлтой книжке — Цзинлэй видела эту книжку впервые и поняла, что таких расписок Сун собирает не одну, — и чехол поднялся на второй этаж, в комнату дочери.

Платье легло на кровать, и комната стала другой.

Бордовый шёлк — глубокий, тёмный, почти чёрный в тени и вспыхивающий вином на свету, — лёг тяжело и лениво, как ложатся только дорогие ткани. Высокий воротник стойкой, фигурный вырез, и дальше, по всему полотну — вышивка: не золотом, как на эскизе, который мать показывала ей неделю назад, а чёрным. Чёрный феникс раскинулся по бедру и подолу, каждое перо прочитано отдельной нитью; от его когтей уходила вниз ветвь — чёрные цветы, чёрные листья, стебель, тонкий, как след скальпеля. С плеч спускались две длинные бархатные пелерины — того же тёмного вина, тяжёлые, до пола. В коробке под чехлом лежала заколка: золотой феникс, единственное золото во всём наряде, маленький, как скрепка, и острый, как игла.

— Примерка, — сказала Ваньжу.

Цзинлэй разделась и надела платье — медленно, потому что такие вещи не надевают быстро, а вдеваются, как клинок в ножны. Молния пошла вверх без единого заедания — её шили по меркам, которые мать, видимо, хранила и обновляла, не спрашивая. Ткань легла по плечам, по спине, по бёдрам ровно, без единой складки лишней. Пелерины легли следом — два тёмных крыла за спиной.

Ваньжу обошла её кругом. Молча. Потом подняла руку и поправила дочери воротник — тот самый жест, пороговый, — и Цзинлэй поняла, что примерка закончилась.

— Встань к окну, — сказала Ваньжу.

Цзинлэй встала. Свет лёг на бордо, и платье вспыхнуло — тихо, без крика, как вспыхивает вино в стакане, который поднесли к свече. Чёрный феникс на свету не исчезал — он становился глубже, как тень на тени.

— Хорошо, — сказала Ваньжу. — Белый в зале прочли бы как траур. Золотой — как заявку. А это — кровь и чернила. Кровь — дедова, чернила — мои. Пусть читают. — Она взяла с комода заколку и своими руками заколола дочери волосы — собранные наверх, шея открыта, воротник стойкой. Золотой феникс сел в тёмные волосы и застыл, как часы. — Теперь слушай. Сегодня в зале будет тридцать человек, и из них читают по-настоящему — человек шесть. Остальные будут есть. Ты сидишь справа от деда. Это значит: что бы ни случилось, ты не вскакиваешь, не ахаешь, не переспрашиваешь. Ты внучка. Тебе всё можно, кроме одного — быть удивлённой.

— А если кто-то спросит, чем я занимаюсь?

— Правду, — сказала Ваньжу. — Судмедэксперт, отдел особо тяжких. Пусть знают. Половина зала и так знает; вторая половина узнает за обедом. Это работает на нас. — Она поправила себе манжет — жест, которым у неё заканчивались все инструктажи. — Твоего отца в зале никто не тронет и словом. Но ему тоже придётся быть красивым: тост, поклон, чай. Он справится. Он умеет быть простым там, где все стараются быть сложными, — и это, между прочим, единственное качество, за которое я не уверена, что не выдумала его сама и не полюбила выдумку.

Цзинлэй посмотрела на мать в зеркало — Ваньжу стояла за её спиной, в своём уже готовом тёмном платье, и два отражения в раме стояли похоже, как стоят две версии одного оружия: отработанная и новая.

— Мам, — сказала Цзинлэй. — Спасибо за платье.

— Это не подарок, — ответила Ваньжу. — Подарки я делаю отцу. Это обмундирование. — Она улыбнулась одними глазами. — Пойдём. Твой отец сейчас учит тост перед зеркалом, и если мы его не спасём, он выучит его до смерти.

Выехали в пять.

Чжэньхэ сидел за рулём своей старой машины в полном параде — пиджак сдался, сидел, как влитой, галстук был завязан с четвёртой попытки и завязан безупречно. Рядом — Ваньжу. Сзади — Цзинлэй, бордовая, с золотым фениксом в волосах, с пелеринами, сложенными на коленях, чтобы не мять. На заднем сиденье рядом с ней лежал свёрток с чайным набором — отец вёз его лично и дважды за дорогу спросил, не трясёт ли.

— Тост, — сказал он на светофоре. — Последняя репетиция. «Уважаемый тесть. Семьдесят лет. Хороших было не меньше тридцати пяти. За них и выпьем».

— Тридцать девять секунд, — сказала Ваньжу, глядя на телефон. — Годится.

— А если меня спросят про работу? — Чжэньхэ повёл машину дальше. — Там же будут люди твоего отца, Ваньжу. Они спросят. Они всегда спрашивают.

— Скажешь правду, — сказала Ваньжу. — Ведёшь дело о пропавших в порту. Ищешь. Это, кстати, будет не враньём даже для них: порт — общая тема, порт всех кормит. — Она повернулась к мужу. — Только без деталей, Чжэньхэ. Правда —да. Детали — нет. Детали дома.

— Правда без деталей, — кивнул он. — Как свидетельский допрос наоборот.

Цзинлэй смотрела в окно. Город плыл за стеклом — субботний, золотой, вечерний; набережная блестела, как отполированный кнехт. Она думала о материнских словах — «порт всех кормит», — и о том, сколько правды в этой фразе для каждого из трёх человек в машине. Отец кормился с порта делом. Мать — нефтью, что шла мимо ведомостей. Она сама — тишиной, которая держала всё это на плаву.

— Дочь, — окликнул её Чжэньхэ в зеркало. — Ты красивая, как приговор. Твой дед ахнет.

— Дед не ахает, — сказала Цзинлэй.

— Ахнет, — уверенно сказал Чжэньхэ. — Я двадцать два года его знаю. Он умеет ахать так, что никто не замечает. Смотри на его левую руку: если разомкнёт пальцы на подлокотнике — ахнул.

Ваньжу, не оборачиваясь, отпила что-то из своего термоса. Цзинлэй успела заметить, как уголок её рта дрогнул — мать тоже знала про левую руку деда. Мать знала про него всё.

«Нефритовый двор» стоял на тихой набережной улице, в стороне от туристических огней, — низкое, широкое здание старой постройки с крышей в черепице и двумя каменными львами у входа. Вывески почти не было: маленькая бронзовая дощечка, и всё. Такие места не рекламируют — такие места знают.

У входа их встретил распорядитель — человек в тёмном костюме, поклонившийся Ваньжу чуть глубже, чем кланяются гостье, и ровно настолько же чуть менее глубоко, чем кланяются хозяйке. Цзинлэй отметила глубину поклона автоматически, как отмечала лужи и кнехты: распорядитель знал, кто она такая, и знал, что она увидит, что он знает.

Гардеробщик принял у Чжэньхэ свёрток с чайным набором — двумя руками, с поклоном, — и Чжэньхэ, доверчивый, отдал его, а потом обернулся и шепнул дочери:

— Как думаешь, долетит?

— Долетит, — сказала Цзинлэй. — Тут всё долетает.

Зал был отдельный, в глубине здания, за двойными дверями с резными створками. За дверями оказался не ресторанный зал, а зал старого дома: тёмное дерево, шёлк на стенах, две туши с пейзажами, живая магнолия в кадке размером с клинику, и три круглых стола под белыми скатертями. Первый стол — у нефритовой ширмы, за ним уже сидел дед.

Линь Чуншань встретил их взглядом ещё с порога — сидел он прямо, по-кавалерийски, в тёмно-сером костюме с воротником-стойкой, седые волосы зачёсаны назад, на большом пальце левой руки — нефритовый перстень, матовый от старости. Рядом с ним стоял Сун — в сером, как всегда, чуть в тени, как всегда, и глаза его на секунду встретились с глазами Цзинлэй и сообщили ей ровно то, что положено сообщить глазами: всё готово.



Линь Чуншань

— Подходите, — сказал Чуншань, не вставая, — голос у него был низкий, ровный, голос человека, который не повышал его лет сорок. — Дочь. Внучка. — Пауза в полвдоха. — Зять.

— С днём рождения, уважаемый тесть, — сказал Чжэньхэ и поклонился — поклон у него вышел чуть глубоковатый, следовательский, — и Цзинлэй увидела, как пальцы на левой руке деда разомкнулись на подлокотнике и тут же сомкнулись обратно. Отец был прав. Дед умел ахать.

Потом дед посмотрел на внучку. Долго — секунды четыре, вечность по протоколу. Взгляд его прошёл по бордовому шёлку, по чёрному фениксу, по пелеринам, по золотому в её волосах — и вернулся к лицу.

— Кровь и чернила, — сказал он.

Ваньжу чуть склонила голову: прочтён верно.

— Сядешь справа от меня, — сказал Чуншань внучке. — Мать — слева. Зять… — он посмотрел на Чжэньхэ, и в глазах его мелькнуло что-то очень редкое, почти домашнее, — зять сядет через одного от дочери. Рядом с Ляо-младшим, про которого рассказывают, что он врач. Вам будет о чём помолчать вдвоём.

Цзинлэй не повела бровью, но внутри у неё щёлкнуло: Ляо-младший. Сын доктора Ляо. Дед сажает её отца рядом с сыном её учителя — и либо это случайность, чего не бывает, либо дед знает про Ляо куда больше, чем говорил. Она записала это в карточку с пометкой «после праздника» и пошла за матерью к столу.

Гости сходились к шести.

Цзинлэй сидела справа от деда и читала зал, как читала всё, — медленно, по строкам. Мать говорила правду: из тридцати человек читали шесть. Она пересчитала их, пока наливали чай: сама, мать, дед, Сун, Чжао Миндао и человек за вторым столом, которого она не знала, — худой, лысый, в очках без оправы, сидевший с видом скучающего бухгалтера и не пропускавший ни одного жеста в зале. Всё остальное пространство заполняли люди, которые пришли поесть и посмотреть, кто сидит рядом с главой, — и они смотрели. На неё. Не таясь: старики — одобрительно, жёны — оценивающе, молодые — с любопытством и чуть-чуть сзади, с опаской.

Чжао Миндао вошёл в четверть седьмого — лиловый пиджак, белая рубашка, золото на трёх пальцах, жена под руку: высокая женщина в нефритово-зелёном, с лицом красивым и усталым, как у всех жён громких мужей. Он вошёл так, будто зал ждал его одного, — и, надо отдать ему должное, зал на секунду поверил.



Чжао Миндао

— Линь-лаое! — громыхнул он через весь зал, ещё не переступив порог. — Семьдесят! А выглядишь на шестьдесят девять и одиннадцать месяцев!

Чуншань не встал. Он вообще не вставал сегодня ни перед кем — и это тоже читалось.

— Чжао, — сказал он ровно. — Ты гость. Садись за третий стол.

В зале на полтона стало тише. Не потому что «третий стол» — это унижение: третий стол был почётен, за ним сидели люди весомые. А потому что дед произнёс это вслух, при всех, спокойно, как констатацию, — и все, кто умел читать, прочли: посадка сделана хозяином, а не судьбой, и сделана намеренно.

Чжао Миндао расхохотался — искренне, без обиды, как человек, которому назвали цену и который уважает торг.

— Третий так третий! Оттуда лучше видно! — Он прошёл к своему столу, и жена его шла рядом, глядя прямо перед собой, и Цзинлэй отметила: жена знала про вазу. По лицу знала.

А ваза стояла. На специальной тумбе у стены, на бархате, с карточкой без подписи — высокая, тёмная, с драконом, и свет над ней был выстроен так, что дракон блестел. Подарок Чжао, присланный заранее, — выставлен. Не спрятан, не отодвинут: выставлен. Цзинлэй прочла и это: «вазы не виноваты», — сказал дед тогда, по телефону. Ваза стояла там, где стоят вещи, про которые хозяин не боится, что их увидят все.

— Смотри в зал, внучка, — сказал дед негромко, не поворачивая головы. — Не на вазу.

— Я смотрю в зал, — сказала Цзинлэй. — Ваза — часть зала.

Чуншань издал короткий звук — что-то между кашлем и смехом, — и сказал:

— Вот за такие ответы тебя и посадили справа. Ешь, когда принесут. Пей чай. — Он сделал паузу. — Сегодня можно и чай.

— Только сегодня, — сказала Цзинлэй.

— Только сегодня, — согласился дед. — И это уже жертва, которую я ценю выше вазы.

Подняли первый тост — за здоровье, как водится, все, кроме именинника, которому полагалось сидеть и принимать. Цзинлэй подняла чашку с чаем — дед велел чай, и она пила чай, горький, дымный, ненавистный, — и лицо её не дрогнуло, потому что лицо умело не дрогать и на более горьком.

Потом было слово отца.

Чжэньхэ поднялся, когда ему кивнула Ваньжу, — поднялся из-за первого стола, с места рядом с тем самым Ляо-младшим, доктором в очках, который сидел тихо и слушал. Отец был в сияющем пиджаке, с галстуком, завязанным с четвёртой попытки, и держал бокал так, как держат не оружие, а микрофон.

— Уважаемый тесть, — сказал он, и зал притих, потому что зал любил смотреть, как зять говорит с главой Хэйфан, — семьдесят лет. Я посчитал: хороших было не меньше тридцати пяти. За них и выпьем.

Тридцать девять секунд. Ни слова лишнего. Он поклонился, выпил — по-настоящему, до дна, по-полицейски честно, — и сел.

Секунда тишины. Потом Чуншань поднял левую руку — медленно, на виду у всего зала, — и разомкнул пальцы на подлокотнике. А потом сделал то, чего Цзинлэй не видела ни разу за свои двадцать лет: он засмеялся. Негромко, на один выдох, но вполне различимо — и зал, послушный, как оркестр, засмеялся следом, и в этом смехе отец её сделался вдруг не «зятем», а своим. Тост в сорок секунд, без единого лишнего слова, сказанный человеком, который не умеет льстить, — для зала это была редкость, как трефовый туз в краплёной колоде.

— Умный человек, — сказал Чуншань, когда смех осел, — говорит мало. Мой зять говорит мало. Цените его, пока он ваш. — Он поднял свою чашку — с чаем, дед пил сегодня чай, и никто в зале не решился бы спросить почему, — и выпил за зятя.

Цзинлэй посмотрела на мать. Ваньжу сидела ровно, с чашкой, и только самые внимательные глаза в зале — их было шесть — могли заметить, как медленно и глубоко она выдохнула.

Чжао Миндао поднялся с тостом четвёртым — когда очередь дошла до третьего стола, и это тоже было посадкой, озвученной вслух.

Он говорил долго. Он умел: про «старые времена», про «набережную, которая нас всех вырастила», про то, что «семьдесят лет — это когда человек уже не старик, а учреждение». Зал смеялся. Дед слушал с лицом человека, который слышит дождь. Цзинлэй слушала внимательно — и на третьей минуте услышала то, что ждала.

— …и потому я, от всего нашего дома, — Чжао обвёл рукой свой стол и что-то невидимое за его пределами, — хочу сказать: набережная у нас одна. Вода одна. И дурной воды на ней не будет, пока старшие сидят на своих местах. — Он поднял бокал в сторону деда, лиловый рукав сверкнул золотом запонки. — За старших, Линь-лаое. За тех, кто сидит на своих местах.

«Дурной воды не будет». «Старшие на своих местах». Зал выпил весело, а шесть пар глаз — медленно. Цзинлэй опустила чашку и переглянулась с матерью — коротко, на полсекунды. Мать едва заметно кивнула: слышала.

Чжао Миндао только что, при тридцати свидетелях, заявил, что «дурная вода» в порту — не его. И назвал себя «сидящим не на своём месте» — третий стол, — как человек, которого это задевает, но который уважает правила. Это был не тост. Это была позиция на переговорах, и Цзинлэй вдруг очень ясно поняла, зачем Чжао Миндао прислал им двадцать лет своей бухгалтерии, зашитой в мертвеца: ему нужно было, чтобы его услышали быстро и без протокола.

Обедня. Сун закончил вчера в одиннадцатом часу.

Значит, переговоры уже идут — она сидит посреди них с чашкой горького чая, и лучшее, что она может сделать, это то, что и делает: быть внучкой, есть рыбу и запоминать лица.

Между второй и третьей переменой дед встал — зал поднялся было следом, но он остановил его жестом, мимоходом, как останавливают прибой: погуляйте, сказал жест, зал большой, магнолия настоящая. Гости потянулись к вазе, к ширме, друг к другу. Чуншань вышел через боковую дверь — и по дороге, не оборачиваясь, произнёс в пространство:

— Внучка. Проводи старика до воздуха.

Цзинлэй поднялась. Ваньжу поднялась следом — и дед на этот раз не остановил её, и это тоже читалось: разговор будет не семейный, а домовой. Сун открыл перед ними дверь и закрыл за ними.

Комната за дверью была маленькая, чайная, без окон, с одной тушью на стене и четырьмя креслами. В одном из кресел уже сидел Чжао Миндао — без жены, без смеха, с чашкой, которую он вертел в пальцах и в которую не пил. Лиловый пиджак в этой комнате смотрелся как занавес в операционной.

— Садитесь, — сказал Чуншань, и сел сам — первым, напротив гостя. Ваньжу села справа от отца. Цзинлэй — у двери, в четвёртое кресло, и Сун встал за её спиной, у стены, и она поняла, что её посадили не «у двери», а там, где сидит человек, который слушает и запоминает. Рабочее место. Она узнала его мгновенно: спиной к стене, лицом ко всем.

— Моя внучка, — сказал Чуншань Чжао. — Ты её знаешь заочно. Ты прислал ей подарок.

Чжао Миндао поставил чашку. Делал он это аккуратно, и Цзинлэй отметила: в этой комнате он не играл. Ни грамма. Человек, который три минуты назад гремел тостами на весь зал, сидел теперь тихо, сцепив пальцы, и смотрел на деда глазами взрослого, усталого, очень неглупого человека.

— Знаю заочно, — сказал он. — Говорят, у неё руки, которым цены нет. И голова, которой цены тем более нет. — Он повернулся к Цзинлэй и поклонился — сидя, но по-настоящему. — Пакет дошёл в целости?

— Дошёл, — сказала Цзинлэй. — Шов был дилетантский.

— Шов был в спешке, — сказал Чжао. — Шил мой человек, но шил ночью и дрожал. Передай ему, что качество оценено, а дрожь прощена.

— Передам, — сказала Цзинлэй ровно, хотя никому она ничего передавать не собиралась, и оба они это понимали, и это тоже было частью протокола.

Чуншань поднял руку — и Сун положил на стол между ними лист бумаги. Один. Цзинлэй видела такие листы: его сводки, короткие, без воды.

— Чжао, — сказал дед. — Я два дня читал твои книги. Двадцать лет — это большая честность. Я спрошу тебя один раз, и ты ответишь мне один раз, и после этого мы решим, как нам жить. — Он не повышал голоса; в комнате без окон голос его звучал, как звучит вода в глубине. — Восьмой причал. Ночные баржи. С мая — без камер, через твоего человека в администрации. Мимо ведомости. Это твоё?

— Моё, — сказал Чжао Миндао.

Он сказал это сразу, без паузы, и от этой быстроты в комнате стало тише. Цзинлэй смотрела на него и видела: он пришёл сюда за этим вопросом и ждал его, как ждут удара, который честнее улыбки.

— Груз мой. Баржи мои. Камеры — мой человек снял, я ему плачу двенадцать лет, и ещё двенадцать буду. — Чжао говорил ровно, как читают протокол. — Но, Линь-лаое, я вожу мимо ведомости своё. Свой товар, со своих складов, на свои деньги. Я не ворую у тебя. Я ворую у бумаги. — Он помолчал. — А теперь я скажу то, зачем прислал пакет. Потому что с марта в моих же баржах плывут ящики, которых я не грузил.

Цзинлэй сидела неподвижно. Вот оно. Вот она, середина.

— С марта, — повторил Чуншань.

— С марта. Не каждую ночь. Раз в неделю, раз в десять дней. Ящики маленькие, под маркировкой моих партий, с моими пломбами — копиями, но хорошими. Мой грузовик везёт их до пирса, мои люди ставят их на баржу, моя баржа уходит. И ни один человек в этой цепочке не знает, что вёз чужое. — Чжао посмотрел на Ваньжу, потом на деда. — Я знаю, потому что в апреле один ящик раскололся при перегрузке. Внутри была медицинская посуда. Импланты. Дорогая, стерильная, с чужими серийниками. Мой кладовщик сфотографировал и молчал три дня, а потом пришёл ко мне с фотографией и с заявлением об уходе. Я ему разрешил уйти. Живым. За молчание и за смелость.

— Сколько их было, таких ящиков, с марта? — спросила Ваньжу.

— Одиннадцать, — сказал Чжао. — Я считал сам, по ночам, по своим же книгам. Одиннадцать ящиков чужого груза в моих баржах. Кто-то пользуется моей ниткой, Линь-лаое. Кто-то, кто знает её до последнего кнехта. — Его пальцы с золотом сжались на подлокотнике. — Это может быть только мой человек. Верхний. Из тех, кто видит нитку целиком.

— Почему причал нашей стороны? — спросила Ваньжу. — Твой груз — да. Но встают баржи у восьмого, а восьмой — серая вода. Общая. Почему не у тебя дома?

— Потому что дома у меня глаза, — просто сказал Чжао. — А у восьмого причала глаз нет ни у кого. Это место между нами, ничьё. Идеальное место. Я сам его выбрал, я не обижаюсь, что его выбрал ещё кто-то. Я обижаюсь, что он мой родственник. — Слово «родственник» он произнёс как диагноз. — У меня маленький дом, Линь-лаое. Жена. Племянник, который ведёт мои маршруты. Два счетовода. Капитан барж. И начальник моей охраны. Шесть человек видят нитку целиком. Один из шести грузит мне в баржи чужие ящики и продаёт меня по частям.

Комната молчала. Тушь на стене изображала горы в тумане; Цзинлэй смотрела на неё и думала о шести людях, один из которых — нож.

— Почему не сам? — спросил Чуншань. — Ты Чжао Миндао. У тебя есть руки, есть подвал, есть своя тихая вода. Почему ты пришёл к нам с этим, как сосед за солью?

— Потому что если я начну резать сам, — сказал Чжао, — я угадаю в пяти случаях из шести. А на шестой ошибусь. И после шестого у меня не будет дома, Линь-лаое. У меня будет пепелище с мемориальной доской. — Он выпрямился. — Я старый боец. Резать я умею.

А найти иголку в моём собственном рукаве — нет. Для иголок нужны другие пальцы. — Он повернулся к Цзинлэй. — Вот такие.

Все посмотрели на неё. Дед — не поворачивая головы, глазами. Мать — ровно, и в её ровности читалось: решение уже принято, смотри, как его продают.

— Моя внучка не работает на чужие дома, — сказал Чуншань.

— Ваша внучка, — сказал Чжао Миндао, — уже работает на чужой дом, Линь-лаое, просто об этом ещё не принято говорить вслух. Утопленник с шестого причала. Жэнь Дагуан. Старое клеймо вашей фамилии под мышкой. Его заключение подписано экспертом Линь. — Он говорил тихо, без угрозы, как человек, который раскладывает карты рубашкой вверх: я знаю, что там, вы знаете, что там. — Жэнь Дагуан был моим. Десять лет он сидел у меня на сухих складах у пятого и шестого, и клеймо он получил раньше меня — в те времена, когда вы, Линь-лаое, сами ходили в порт, а он был мальчишкой-погонялой у ваших людей. Когда ваши люди перешли ко мне, он перешёл с ними. И кто-то утопил его в июне — аккуратно, по-домашнему, и положил в воду у шестого причала. Не у восьмого. У шестого. У вашего.

Цзинлэй почувствовала, как холодок прошёл по спине — один, точный, как капля. Жэнь Дагуан был человеком Чжао с клеймом Хэйфан. Тело с чужим клеймом в общей воде. Мать в ту ночь сказала: «Имя оставить мёртвым», — потому что клеймо было их. А тело было чужое. Кто-то собрал эту мёртвую открытку из двух адресов и отправил её в общий почтовый ящик — чтобы два дома переглянулись через неё.

— Кто-то хочет, — сказала Ваньжу медленно, — чтобы мы с тобой, Чжао, вышли друг на друга. Мёртвый с нашим клеймом из твоих людей. Твои же ящики в наших серых водах. Кто-то раскачивает мост между двумя домами и ждёт, что дома сами на нём сойдутся.

— Восемь лет я ждал, когда вы это скажете, — сказал Чжао Миндао, и впервые за весь разговор в его голосе мелькнуло что-то живое, почти мальчишеское. — Нет, не восемь лет. Восемь недель. С апреля, с расколотого ящика. Я человек простой: у меня крадут — я стреляю. Но стрелять можно в дом. А тут ворует не дом. Тут ворует рука внутри дома, и вторая такая же — возможно, внутри вашего.

— Нет, — сказал Чуншань.

Одно слово, ровно, без повышения. И Цзинлэй поняла, что дед говорит сейчас не как хозяин, а как человек, который свои шесть имён пересчитал давно и пересчитывает каждое утро.

— У меня такой руки нет, Чжао. Мои ящики я считаю сам. — Он помолчал. — А вот что у тебя она есть — это ты доказал хорошо. И потому я скажу тебе, как мы поступим. Моя внучка возьмёт твою иголку. Она работает одна, способами выбирает сама, вопросов не задаёт и отчётов не пишет. Цена — не деньги. Цена — вода. Восьмой причал с понедельника встаёт: ни барж, ни ящиков, ни твоих, ни чужих. Месяц тишины. Ты выводишь своих, выводишь инженера, выводишь вахтёра — всю нитку на берег, на сушу, по бумагам. Твоя торговля постоит месяц. Моя набережная помолчит месяц. А моя внучка за этот месяц найдёт тебе руку.

Чжао Миндао смотрел на деда долго. Потом расхохотался — тихо, в комнатную тишину, совсем не так, как в зале.

— Месяц тишины, — повторил он. — Линь-лаое, вы продаёте мне мою же воду по цене моей же воды. — Он покачал головой с восхищением, которое не обязано было быть наигранным. — Идёт. Месяц. С понедельника восьмой спит. Мои люди уходят в ночь на воскресенье. А дальше… — он посмотрел на Цзинлэй, — дальше я хочу получить руку живой. Не частями. Я сам её похороню, но я хочу сначала посмотреть ей в глаза. Это моё единственное условие.

— Слышала, — сказала Цзинлэй. — Живой. Пока рука не начнёт работать против меня. Дальше — как пойдёт.

— Справедливо, — сказал Чжао Миндао, и от его «справедливо» комната стала теплее на градус, потому что все четверо в ней поняли: торг закончился.

— И последнее, — сказал Чуншань. — Жэнь Дагуан. Он твой. Ты его забираешь. Не сейчас — сейчас он лежит в милицейском холодильнике с заключением «утопление», и это заключение подписано моей внучкой и не будет пересмотрено никогда. Когда вода успокоится, ты похоронишь его тихо, по-своему, с именем. А пока — он числится ничьим. Согласен?

— Согласен, — сказал Чжао. И, после паузы, тяжело: — Он любил рыбу. Смешной человек. Десять лет сидел на сухих складах и всё мечтал о рыбалке. — Он поднялся, и лиловый пиджак снова стал занавесом. — Пойду в зал, Линь-лаое. Нехорошо, если два старика долго пьют чай без свидетелей. Скажут — мир делим.

— Мы его и делим, — сказал Чуншань. — Иди, Чжао. И запомни то, что ты сказал в зале: дурной воды не будет. Я записал.

Чжао Миндао вышел. Дверь закрылась. Комната осталась с тремя людьми, тушью и одним листом бумаги на столе, который Сун тут же убрал обратно в папку.

Минуту никто не говорил. Потом Чуншань сказал, глядя на внучку:

— Спроси.

— Почему я? — сказала Цзинлэй. — У дома есть люди для такой работы. Сун лучше меня знает верхи. Это работа по верхам.

— Потому что верхи знают Суна, — сказал дед. — Верхи знают меня, знают мать. Верхи не знают тебя. Для верхов ты — внучка на празднике, врач из подвала, девочка в красивом платье. — Он взял чашку, отпил, поставил. — И ещё потому, что иголка сидит в рукаве Чжао, а не в моём. Я не могу послать в его дом своего человека — это война. Я могу послать чистильщика — это услуга. Ты пойдёшь туда как услуга, внучка. Пакет с книгами был оплатой вперёд.

— Шесть имён, — сказала Цзинлэй. — Жена. Племянник-маршрутник. Два счетовода. Капитан барж. Начальник охраны.

— Сун даст тебе папку в воскресенье, — сказал Чуншань. — Жизни, привычки, деньги, слабости. Месяц. Месяц — это много времени, если не шуметь, и мало, если спешить. Не спеши. — Он посмотрел на неё долгим взглядом, в котором впервые за вечер не было главы клана, а был только старик и его единственная внучка. — И ещё. Жэнь Дагуан, утопленник. Ты закрыла его чисто. Я читал заключение. Хорошее заключение. Оно стоит дороже, чем ты думаешь, — оно спасло тебе сегодняшний вечер: с «утоплением» можно торговаться, с «убийством» — нет. Ты тогда, в четверг, купила нам всем время. Я это запомнил.

Цзинлэй кивнула. Внутри у неё что-то медленно вставало на место — та самая вторая половина работы, про которую говорил отец: кусочки встали друг к другу, и картина стала видна. Только картина была не следовательская. Утопленник с клеймом, диспетчер с окном, перевозчик с чистой машиной, ящики в чужих баржах, мост между двумя домами. И посередине — рука, которая всё это вяжет.

— Юй Фань, — сказала она. — Диспетчер. Она увидела ящики с вышки?

— Скорее всего, — сказала Ваньжу. — Она видела восьмой причал каждую ночь. Кто-то понял, что окно — это глаз, и закрыл его. Не Чжао — он бы увёз её, а не убил: она была ему нужна живой, она была его алиби. Это тоже рука, внучка. Рука закрывает окна. — Мать говорила спокойно, как читают лекцию, но пальцы её на подлокотнике лежали чуть белее обычного. — Найди руку — ответишь и за девочку.

— А Лю Чэнь? — спросила Цзинлэй. — Перевозчик. Третий пропавший. Человек клана. Его машину нашли на «Северной», в извести.

— Вот с ним, — сказал Чуншань, — начни. Он был наш. Он вёз что-то нашими же нитками и пропал, а его машина нашлась мытой. Если это рука Чжао — она касается и нас, внучка. Кто-то убил нашего человека и помыл его машину гашёной известью, как моют после себя… — Он не договорил.

— Как моют чистильщики, — тихо закончила Цзинлэй.

Комната снова помолчала. Горы на туше стояли в тумане, и туман этот был написан так, что казался живым.

— Иди в зал, — сказал дед. — Ешь. Улыбайся дяденькам. Ты сегодня красивая, как… — он поискал слово и нашёл чужое, зятино, — как приговор. Верно. Как приговор. — И, уже когда она встала: — Внучка. Платье. Кровь и чернила. Твоя мать угадала. Передай ей, что я сказал: она всегда угадывает, и это её единственный недостаток — ей слишком редко приходится ошибаться.

В зале, когда она вернулась, играла музыка — живая, струнный квартет в углу, что-то медленное и старое, — и первый танец уже закончился, и гости стояли группами, и воздух был тёплый от людей и свечей. Цзинлэй вошла, и шесть пар глаз отметили её возвращение, и тридцать человек прочли её по-разному: внучка вернулась от деда — и всё, что за этим стояло, осталось за дверью чайной комнаты.

Отец подошёл к ней с двумя бокалами сока — он не пил больше ничего после тоста, за рулём, железное правило, — и сказал:

— Ну как старик? Не строгий?

— Старик доволен, — сказала Цзинлэй. — Он передал: ты умный, потому что говоришь мало.

— Так я же следователь, — просто ответил Чжэньхэ. — Слова — это улики, дочь. Чем меньше слов, тем чище место преступления. — Он хлебнул сока, довольный собой, и тут же наклонился к ней: — Слушай. А этот, рядом с которым меня посадили, доктор Ляо. Представляешь, он патологоанатом в детской больнице! Мы с ним полчаса про работу говорили. Хороший человек. Спокойный. Сказал, отец у него тоже врач был, хирург, старой школы, в частном порядке практиковал. В разное время, говорит, разные эпохи были. — Чжэньхэ сказал это без задней мысли, как рассказывают про хорошего соседа по парте. — А ты чего такая серьёзная? Праздник же. Иди, я тебя с Ляо познакомлю. Вам будет о чём помолчать, как дед сказал. Смешной старик твой дед. Умеет же формулировать.

Цзинлэй пошла за отцом сквозь тёплый шум зала — бордовая, с золотым фениксом в волосах, с лицом, на котором не отражалось ничего, — и думала о том, что дед посадил её отца рядом с сыном доктора Ляо не для того, чтобы им было о чём молчать. Он показал ей: я знаю, чьи руки тебя учили. И, может быть, показал другое: я держу эту нить бережно, как держат родственную.

Ляо-младший оказался худощавым человеком лет сорока пяти с усталыми добрыми глазами. Он встал, поклонился, сказал, что отец его бывал в этом городе «при разных обстоятельствах» и что он сам вырос на рассказах о том, как важно уметь шить ровно. Слово «ровно» он произнёс с особенной, чуть заметной теплотой — и Цзинлэй, которая слышала это слово четыре года в подвале, где «хорошо» не существовало, ответила ему тем же:

— Ровно — высшая оценка, доктор Ляо. Так говорил один мой… учитель.

Ляо-младший посмотрел на неё секунду дольше, чем смотрят на внучек на праздниках, и сказал:

— Знакомая формулировка. Мой отец говорил так же. Он уехал к нам, к сыну, говорит, что отработал. — Он улыбнулся. — Город маленький, эксперт Линь. Все, кто шьёт, в итоге оказываются за одним столом.

Они выпили за это — соком и чаем, — и Цзинлэй подумала, что это, пожалуй, самая точная фраза за весь вечер: город маленький, и все, кто шьёт, в итоге оказываются за одним столом.

Старший Фэн подошёл к ней между шестой переменой и чаем — с бокалом, с поклоном, с лицом старого бойца, который пережил трёх глав и собирался пережить четвёртого. Ему

было под семьдесят, он сидел за первым столом по левую руку от матери, и Цзинлэй знала его по сводкам: старшина клана, человек, который вёз грузы Хэйфан ещё грузовиками, когда набережная была деревянной.

— Внучка, — сказал он, и в этом слове не было фамильярности, а была аттестация. — Налей старику чаю, если внучка.

Она налила — двумя руками, как полагается, чайник с зольным потёком, который дед велел поставить на общий столик и из которого теперь налипала к старшим очередь. Фэн принял чашку, отпил, поставил.

— Говорят, ты теперь в отделе работаешь, — сказал он. — У отца. Экспертом.

— Третий день, — сказала Цзинлэй. — Экспертом.

— Третий день, — повторил Фэн, и крякнул, и в этом кряке прозвучала вся его долгая жизнь. — А говорят, подписи уже ставишь, от которых людям легче. — Он посмотрел на неё внимательно, в упор, глазами человека, который дважды в жизни лежал в морге живым. — Это хорошая работа, внучка. Честная. Мертвецам врать нельзя — они потом приходят. Я знаю, я проверял.

— Я тоже так думаю, — сказала Цзинлэй. — Потому и заключения у меня короткие. Длинные заключения мертвецы не любят.

Фэн смотрел на неё секунду, другую — и вдруг расхохотался, сухо, громко, так что за вторым столом обернулись. Он отсмеялся, вытер глаза и сказал — уже не ей, а пространству, а точнее, первому столу:

— Ваша, Линь-лаое. Вся ваша. Мать в ней говорит, когда молчит, а вы — когда отвечает. — Он поднялся, поклонился ей — уже не как внучке, а как равной, что от человека его лет значило больше, чем любая грамота, — и отошёл к своему месту, и Цзинлэй видела, как он садится, наклоняется к соседу и говорит что-то короткое, и как сосед смотрит на неё с новым интересом.

Одобрение старших собралось за три фразы. Мать говорила правду: её сегодня нанимали на работу, про которую никто не объявлял вакансии.

А через ползала, у столика с чаем, её отца испытывали по другой линии.

Двое старших — Цзинлэй знала одного, логист с мёртвого плеча набережной — подошли к Чжэньхэ с тем особенным дружелюбием, которое бывает у людей, проверяющих чужого зятя на излом.

— Линь-сыр, — говорил один, старший, с шрамом через бровь. — Вот сидим, спорим. Я говорю: милиционер за столом главы Хэйфан — это как кошка на псовой свадьбе. А брат мой говорит: нет, это как пёс на кошачьей. Рассуди.

Цзинлэй замерла с чашкой на полпути. Отец посмотрел на спорщиков — простодушно, с интересом, как смотрят на интересную улику, — и ответил не сразу, а подумав, всерьёз, как думал всегда:

— Ни то ни другое, — сказал он. — Я здесь не милиционер. Я здесь муж дочери и отец внучки. Милиционер снаружи остался, он у дверей стоит, скуку гоняет. — Он подмигнул им — открыто, по-мальчишески. — А вот ты, брат, зря сказал, что свадьба. Свадьба — это когда женятся. А тут день рождения. Учитесь у следователя: сначала квалификация, потом метафора.

Старший с шрамом моргнул — и расхохотался, и второй расхохотался следом, и они ушли, хлопая отца по плечу, как своего, и Цзинлэй отпила чай, и подумала, что отец только что прошёл проверку, о которой даже не догадался, — потому что не умел не проходить её. Его честность была непрошибаема просто потому, что не была стратегией. В этом зале, где всё было стратегией, он был единственным неубиваемым человеком.

Дед наблюдал за этим с первого стола. Их взгляды встретились — деда и внучки, через весь шумный зал, — и Чуншань едва заметно кивнул ей на отца, потом на её чашку: видишь,

мол, чья кровь. И Цзинлэй поняла вдруг, с острой, неожиданной ясностью, что дед давно прочёл своего зятя насквозь — двадцать два года назад, может быть, в первый же вечер, — и что «хороших было не меньше тридцати пяти» он сегодня приписал к счёту не юмора ради. Он платил. Старики всегда платят за то, что берегут, — платят при всех, чтобы все видели цену.

Ещё за сутки до банкета, в пятницу, в десятом часу вечера, Ваньжу стояла в своём втором кабинете и слушала, как Сун читает обедню.

Двадцать лет книг клана Чжао лежали теперь перед ней не шифром, а текстом — листами, которые Сун раскладывал на столе рядами, по пять, как раскладывают пасьянс, в котором сошлось всё, кроме последней карты.

— Вывод первый, — говорил Сун. — Книги честные. Двадцать лет без единой подчистки; так не врут даже себе. Чжао Миндао отдал нам себя настоящего. Это либо безумие, либо у него горит сильнее, чем он показывает.

— Второе, — сказала Ваньжу.

— Второе. С марта в его грузах — одиннадцать чужих ящиков. Он сам их нашёл и сам вывел, мы только проверили арифметику. Маркировка его, пломбы скопированы хорошо, на уровне, которому учат, а не которому учишься. — Сун помолчал. — И третье, госпожа. Я наложил даты. Одиннадцать ящиков — одиннадцать ночей. И вот эти ночи.

Он положил сверху маленький лист. Три даты, обведенные красным: апрельская, майская, июньская.

— Ночь, когда пропал Мао Цзянь, — ночь третьего ящика. Ночь, когда пропала диспетчер Юй Фань, — ночь шестого. Ночь, когда пропал Лю Чэнь, — ночь десятого.

Ваньжу долго смотрела на лист. Кабинет молчал; за окном молчал город; где-то в этом городе спал её муж, чтобы завтракать рано даже в субботу.

— Кто-то убирает людей в ночи отгрузки, — сказала она наконец. — Не рядом с ящиками — рядом с окнами. Убирает тех, кто мог видеть. Грузчик увидел погрузку. Диспетчер видела баржи. Перевозчик… — она остановилась. — Перевозчик наш. Лю Чэнь был наш. Что он увидел, Сун?

— Он вёз наше, — сказал Сун. — Но его маршрут пересекал серую воду. Он мог увидеть баржу у восьмого. Мог увидеть ящик. Мог увидеть человека, который грузит. — Сун сложил лист обратно. — Госпожа, это не война двух домов. Война выглядит иначе, я её видел. Это кто-то третий, кто кормится на стыке и стерилизует свидетелей. И он знает оба дома лучше, чем положено знать чужому.

— «Цапля», — сказала Ваньжу.

— «Цапля», — согласился Сун. — Я пересмотрел его. Гао Фэй продавал ему ночные конвои наши, а не Чжао. Зачем Чжао покупать наши маршруты через жулика, если он может спросить у нас по-товарищески? Он не станет. Гордый. Значит, покупал не Чжао. Значит, «Цапля» — это и есть третий. Или его лапа. — Он посмотрел на неё. — Встреча в среду стоит. Я иду сам. Вежливо, за чаем, как вы велели. Только теперь я иду не к человеку Чжао. Я иду к человеку руки.

— Дэн, — сказала Ваньжу, не спрашивая.

— Дэн — милиция, госпожа. Дэн — это отдельная книга, и она у меня будет к среде. Но «Цапля» — не Дэн. Дэн не покупает маршруты, Дэн переписывает доски в коричневый блокнот. Такие не продают. Такие ловят. — Сун убрал листы в папку, все до одного, — бумагу можно сжечь, но сначала бумагу можно прочесть. — Завтра у старого господина будет полный рукав. Посоветуйте ему не играть все карты сразу.

— Мой отец, — сказала Ваньжу, — никогда в жизни не играл все карты сразу. Он семьдесят лет копил их на один вечер. Спи, Сун. Завтра праздник.

Она осталась одна, постояла у окна и подумала о том, как странно складывается неделя: дочь вошла в милицейский отдел в четверг, клан получил чужие книги в пятницу, а в субботу два дома сядут за один стол впервые за восемь лет — и всё это собрала в одну линию рука, которой ещё нет имени. У хороших врагов, как у хороших пациентов, нет имени до диагноза. Диагноз поставит Цзинлэй. Ваньжу не сомневалась в этом; она сомневалась только в цене, которую дочь назначит себе за такую работу, — в цене не для клана. Для неё самой.

Зал тем временем жил своей праздничной жизнью — и у окна, между переменами, мать нашла её без слов, просто встав рядом так, чтобы стало ясно: встань рядом тоже. Цзинлэй встала. Они смотрели на набережную за стеклом — на огни, на воду, — и говорили тихо, двумя силуэтами в тёмном и бордовом, и никто в зале не смог бы подойти к ним так, чтобы они этого не захотели.

— Второй стол, — сказала Ваньжу, не понижая голоса до шёпота: шёпот в зале читается, тихая речь — нет. — Лысый, в очках без оправы. Господин Юнь. Казначей дома. Он единственный человек здесь, который знает, сколько стоил этот вечер, — включая то, что не считается деньгами.

— Он читает, — сказала Цзинлэй. — Я отметила. Шесть пар глаз: мы с тобой, дед, Сун, Чжао и он.

— Семь, — мягко поправила Ваньжу. — Жена Чжао. Седьмая. Не пропускай её больше: она читает лучше мужа. Он гремит — она считает. Тридцать лет считает. — Она отпила из своей чашки. — Она подходила к тебе. Я видела. Что сказала?

— «Берегите руки, деточка».

Ваньжу чуть повела бровью — и это было у неё целой репликой.

— Вот как. Значит, она знает, на кого смотрит её дом. — Мать помолчала, пересчитывая что-то про себя, и Цзинлэй не мешала ей: у матери пересчёт всегда шёл быстрее, если его не торопить. — Хорошо. Пусть знает. Страх — тоже вид связи, а иногда и самый честный. Смотри на неё в карточке первой, но не пиши её первой. Кто читает, редко пишет сам; писари у таких — другие руки.

— Племянник, — сказала Цзинлэй. — Счетовода. Капитан. Охрана.

— Все до одного, — согласилась Ваньжу. — Но помни моё правило, оно старше тебя: в доме, где украли, первым смотрит на место кражи тот, кто крадёт постоянно. Вор не ищет вора — вор проверяет, не тронули ли его нору. — Она повернулась к дочери, и на секунду в её лице не было ни наследницы, ни чистильщика — просто мать, которая отпускает ребёнка в большую воду и отдаёт ему последний спасательный круг. — Не спеши с выводами, Цзинлэй. У тебя есть дар, которого нет ни у меня, ни у Суна: ты видишь, как умирают. А у этой руки — дар, которого нет у тебя: она умеет ждать. Кто ждёт дольше — тот и дом.

— Я умею ждать, — сказала Цзинлэй.

— Ты умеешь не спешить, — поправила мать. — Это другое. Ждать — это когда тебе не скучно. Не спешить — это когда ты спешишь, но никому не показываешь. Учись первому. — Она отпила чаю и добавила, глядя уже в зал, на отца, который в компании старших рассказывал что-то с жестами и все хохотали: — Иди. Твой дед дважды посмотрел на тебя за эти пять минут. Он редко смотрит дважды. Иди к нему — и пусть зал видит, что ты идёшь к нему. Посадка посадкой, а дорожка тоже говорит.

Подарки подавали после пятой перемены, когда зал уже прогрелся и посмелел.

Распорядитель выкатывал их на низком столике — дарили немного, дорого и со смыслом: старики дарили вещи с историей, молодые — вещи с ценой, жёны — вещи с намёком. Цзинлэй смотрела и запоминала, кто что дарит, потому что подарки на таких обедах — это голосование: каждый дарящий вслух объявляет, каким он видит именинника и кем хочет при нём числиться.

Чжао Миндао поднялся, когда выкатили его вазу, и произнёс короткую речь про «сосуды, которые хранят», — и зал вежливо поаплодировал, и дед кивнул, и ваза осталась стоять на тумбе, и никто, кроме шести пар глаз, не понял, что сейчас произошло: Чжао публично признал себя сосудом, а дед публично принял его в дом.

Потом поднялся Чжэньхэ — и Цзинлэй вдруг почувствовала, как у неё перехватило что-то в груди, совсем как в четверг, у доски с заключением: отец нёс к деду свой продолговатый свёрток, сам, не доверяя распорядителю, и нёс его двумя руками, как рапорт.

— Уважаемый тесть, — сказал он. — Я в чае не разбираюсь. Продавец говорил двадцать минут, я понял одно: хорошая вещь. Вы пьёте чай так, будто это работа. Вот вам инструмент.

Он развернул свёрток — тёмная глина, шесть пиал, чайник с потёком зольного обжига, — и зал вежливо ахнул, а Чуншань поднялся. Он не вставал сегодня ни перед кем. Он поднялся, обошёл стол, взял чайник в руки, повертел, посмотрел на свет — и зал увидел, как глава клана Хэйфан, человек, которого половина города боится до икоты, стоит с дешёвым по меркам этого зала чайником в руках и молчит целых пять секунд.

— Обжиг в золе, — сказал он наконец. — Его нельзя заказать дважды, зять. Каждый такой — один. — Он поставил чайник на стол перед собой — на самое видное место, выше вазы, — и сказал залу: — Мне семьдесят лет, и мне только что подарили вещь, про которую дарящий не понял, что подарил. Такие подарки самые дорогие. Запомнили все.

Отец её сиял. Он не понял до конца, что именно произошло, — он решил, что угадал с магазином, — и от этого его радость была такой цельной, такой ничем не подкопанной, что Цзинлэй поймала себя на том, что улыбается. Впервые за вечер — не внучка, не чистильщик, не эксперт Линь, а просто дочь, у которой отец угадал с чайником.

А потом к ней подошла жена Чжао.

Она подошла в перерыве, когда квартет снова заиграл, — высокая, нефритово-зелёная, с усталым красивым лицом, — и остановилась рядом с креслом Цзинлэй с той естественностью, с какой подходят к молодым родственницам: присесть рядом, поделиться конфетой.

— Значит, ты и есть внучка, — сказала она. Голос у неё был низкий, отработанный, голос женщины, которая тридцать лет говорит только то, что можно. — О тебе рассказывают всякое. Не верь рассказам, деточка. Про женщин всегда рассказывают всякое.

— Я не верю рассказам, — сказала Цзинлэй. — Я читаю документы.

Женщина рассмеялась — тихо, по-настоящему, и на мгновение усталость сошла с её лица, и стало видно, какой она была тридцать лет назад, когда за ней ухаживал громкий человек в лиловом.

— Документы, — повторила она. — Хороший ответ. Мой муж тоже читает документы. Двадцать лет читал, а потом отдал их чужим людям, представляешь? — Она смотрела в зал, на вазу, и голос её остался ровным, светским, а слова пошли вниз, в воду. — Я ему говорила: Миндао, книги не отдают. Он сказал: книги отдают тому, кто умеет их закрыть. — Она повернулась к Цзинлэй, и взгляд у неё был внимательный, как у врача. — У вас красивые руки, деточка. Берегите их. В наших домах руки — единственное, что стареет последним.

Она поднялась и ушла, прежде чем Цзинлэй ответила, — ушла к своему третьему столу, к мужу, и села рядом с ним, и лицо её снова стало лицом жены громкого человека.

Цзинлэй сидела с остывшим чаем и понимала, что только что получила второе за вечер сообщение от дома Чжао — и второе было важнее первого. Жена знала про книги. Жена одобряла. Жена пришла лично посмотреть на руки, которым поручат искать иголку в её собственном рукаве, — потому что одно из шести имён в этом рукаве было её именем, и она это знала, и она пришла посмотреть в лицо человеку, который будет читать её жизнь. «Берегите руки» — это было не пожелание. Это была просьба о пощаде заранее, на тот случай, если иголкой окажется она. Или наоборот — это было предупреждение: я вижу тебя, деточка, как и ты меня.

Шесть имён. Жена. Цзинлэй посмотрела на нефритово-зелёную спину за третьим столом и записала в карточку: первая подозреваемая сама пришла знакомиться. Так не делают виновные. Так делают умные. А умные бывают и теми и другими.

Перед самым закрытием, когда подали чай — настоящий, в новом чайнике с зольным потёком, дед велел заварить в нём первую заварку при всех, и это был жест, который зал запомнит на годы, — Чуншань поднялся в последний раз.

Он говорил недолго. Он вообще никогда не говорил долго, и это было одной из причин, по которым его слушали.

— Мне семьдесят, — сказал он. — Я видел эту набережную деревянной. Я видел её железной. Теперь она стеклянная, и я вам скажу: вода под ней всё та же. — Зал молчал. — Ко мне сегодня пришли друзья. Старые — и это хорошо, потому что старые друзья — это те, кто пережил все причины перестать ими быть. Пришли и новые лица. — Его взгляд прошёл по залу и на секунду задержался на внучке. — Дом стоит не стенами. Дом стоит людьми, которые помнят, зачем его строили. Я вам всем скажу одно: пока я сижу за этим столом, в наших водах будет тишина. Кто хочет тишины — тот мой гость. Кто хочет дурной воды — тот мой… — он сделал паузу, ровно настолько длинную, чтобы слово «враг» прозвучало само, без звука, — … собеседник. Пейте чай. Он сегодня хороший. Его мне подарил зять.

Зал пил чай. Чжао Миндао пил чай вместе со всеми — и пил его внимательно, с уважением, как пьют слова. Когда он уходил — в одиннадцатом часу, с женой под руку, лиловый и шумный в дверях и тихий в самом дверном проёме, — он поклонился Чуншаню так, как кланяются не гостю и не царю, а старшему в ремесле. И, проходя мимо кресла Цзинлэй, не остановился, не наклонился — только произнёс, вполголоса, в пространство между ними:

— Месяц, эксперт Линь. Мои часы пошли.

Она не обернулась. Она сидела с чашкой и смотрела, как гаснут свечи, и думала о том, что у иголки теперь есть срок, у руки — имя из шести букв, которое она ещё не знает, а у неё — месяц, который начался не завтра, а уже сейчас, вот с этой самой свечи.

Уходили в двенадцатом часу — когда именинник встал, и весь зал встал с ним, и старшие пошли прощаться по одному, по протоколу, от старшего к младшему. Цзинлэй стояла рядом с родителями у выхода и отвечала на поклоны — она уже умела это, сегодняшний вечер научил, — и тут дед, простившийся с последним из старших, повернулся и сделал ей знак: подойди.

Они отошли на два шага — к тумбе с вазой, к нефритовой ширме. Дед смотрел на неё сверху вниз — он был высокий даже в свои семьдесят, сутулый лишь чуть-чуть, как будто пригнулся под ветром лет на сорок, — и говорил тихо, для двоих.

— Ты сегодня сидела справа от меня. Видела весь зал. Скажи, что ты видела.

Цзинлэй не стала вспоминать вазу и тосты. Она сказала то, что считала целый вечер:

— Тридцать человек. Шесть читают, один считает. За вторым столом сидят люди, которых Чжао хотел бы видеть подальше от нас, — и они смеялись его тостам чуть громче, чем надо. Он это тоже видел. Он смеялся вместе со всеми и держал счёт. — Она помолчала. — И я видела, что ты его принял. Не книги — его. Ты дал ему сегодня то, чего он не мог купить ни за какие книги: место, где его слушают. За это он отдаст больше, чем причал.

Чуншань слушал не двигаясь. Потом сказал:

— Семьдесят лет, и ни один наследник мне так не отвечал. Ты похожа на мать. Она тоже видела людей насквозь и тоже считала, что это обычное дело. — Он сдвинул нефритовый перстень на большом пальце — жест старый, привычный, как у людей, которые носят одну вещь полвека. — Спроси меня про Ляо. Ты хочешь спросить с самого обеда.

— Ты его знал, — сказала Цзинлэй.

— Сорок лет, — сказал дед просто. — Мне было тридцать, когда меня в первый раз порезали так, что я увидел свои внутренности на свету. Меня несли мимо трёх больниц — к нему. Он посмотрел и сказал: «Будет ровно». И было ровно, внучка, вот это брюхо до сих пор держится. — Он сказал это без улыбки, но тепло, как говорят о друзьях покойных. — Я потом предлагал ему всё: деньги, дом, людей. Он брал плату за работу и больше ничего. Говорил: «Я хирург, Линь. У хирурга одна кровь — та, что на столе». Когда мне сказали, что моя внучка пошла к нему в ученицы в шестнадцать, я… — он замолчал, подобрал слово и не стал его смягчать: — я проверил, не привёл ли он тебя ко мне. Не привёл. Ты пришла сама. Он тебя просто не удержал — он никого никогда не удерживал, в этом он был дурак. И в этом же — великий.

Он посмотрел на неё внимательно, и глаза у него были старые и совершенно ясные.

— Руки, которым цены нет, он сказал про тебя однажды, за чаем, у меня. Год назад. Я запомнил. Я вообще запоминаю, что говорят про моих. — Он выпрямился. — Иди, внучка. Месяц у тебя короткий. А ещё — приходи ко мне пить чай. Не по делам. Просто пить чай. Ты ненавидишь чай — я знаю, мать прожужжала. Тем ценнее, что придёшь.

— Приду, — сказала Цзинлэй. — В четверг. По четвергам у меня отдел.

— По четвергам, — кивнул дед, и в его лице что-то дрогнуло и собралось обратно, быстро, как размыкаются и смыкаются пальцы на подлокотнике. — Иди. Счастливо доехать, эксперт Линь.

Домой ехали молча — но это был другой вид молчания, тёплый, праздничный, усталый. Чжэньхэ вёз медленно и всю дорогу напевал что-то без слов, постукивая пальцами по рулю, и дважды, на светофорах, поворачивался к жене и говорил одно и то же:

— Обжиг в золе, Ваньжу. Один такой. Я же говорил — хорошая вещь.

— Хорошая, — соглашалась Ваньжу оба раза, одинаково спокойно, и только во второй раз добавила: — Ты сегодня был хороший, Чжэньхэ. Тост, чайник, поклон. Отец запомнит этот вечер.

— А я запомню? — засмеялся он. — Я завтра проснусь и подумаю: приснилось. Мой тесть, который при мне ни разу не улыбнулся за двадцать два года, смеялся при полном зале. За что? За тридцать пять хороших лет! — Он покачал головой, довольный. — Математика, дочь. Математика решает.

— Ты заслужил, — сказала Ваньжу. Она сказала это тихо, глядя прямо перед собой, на дорогу в огнях, и отец на секунду оторвал глаза от асфальта и посмотрел на неё — так смотрят на людей, которых знают двадцать два года и которые до сих пор умеют сказать что-то новое. — Ты сегодня был лучшим в зале, Чжэньхэ. Без единой поправки на то, кто в нём сидел. Запомни это сам. Мне можешь не верить — ты мне никогда не веришь, когда я тебя хвалю, ты думаешь, я подлизываюсь по долгу службы.

— По какому долгу, — фыркнул он. — Ты ж у меня вольный художник.

— Вот именно, — сказала Ваньжу. — Художник говорит: было хорошо. Точка.

Цзинлэй сидела сзади, с пелеринами на коленях, и смотрела, как за окном плывёт ночная набережная — огни, вода, мосты. Где-то там, за этими огнями, стоял восьмой причал, мёртвый журавль против неба, и завтра в ночь с него начнут уходить люди Чжао — тихо, по бумагам, один за другим, — и к понедельнику причал уснёт по-настоящему, впервые за год. Месяц тишины. Купленный дороже денег: чужими книгами и её собственным именем.

Она думала о шести людях, про которых завтра узнает всё. Жена с нефритовым лицом. Племянник-маршрутник. Два счетовода. Капитан барж. Начальник охраны. Один из шести убил Мао Цзяня, убил Юй Фань — девочку, которая писала маме письмо и не дописала, — убил Лю Чэня, человека клана, и помыл его машину известью, как моют после себя чистильщики. Профессионал. Или человек, которого учил профессионал.

«Берегите руки, деточка».

Она сжала пальцы на коленях — медленно, до белых костяшек, — и разжала. Руки были в порядке. Руки всегда были в порядке.

В своей комнате она разделась медленно, как вдевалась — в обратном порядке. Пелерины легли на спинку кресла первыми, два тёмных крыла. Платье она повесила на плечики — не в шкаф, на дверцу, потому что такие вещи нельзя мять и потому что ей хотелось видеть его, когда она будет укладываться. Золотой феникс лёг на комод рядом с запиской матери — «Завтра в шесть. Платье твоё», — и Цзинлэй прочла её ещё раз, уже зная, чем закончился вечер, и записка прочиталась иначе: не «платье твоё», а «платье — твоё обмундирование». Мать никогда не писала лишних слов. Мать вообще редко писала; за вечер Цзинлэй получила от неё больше слов, чем за неделю, и все они были рабочими.

Она написала Суну два сообщения — коротких, потому что длинные были больше не нужны: Сун знал всё и раньше неё.

Первое: «Принято. Месяц. Жду папку».

Второе, через минуту, отдельным: «По „Цапле“: если он рука — в среду он придёт на встречу не гадать, а проверять. Пусть проверит то, что мы ему подсунем. Приготовьте ему правду, но не всю».

Она погасила телефон, постояла у окна — внизу спал переулок, за переулком спал город, за городом не спал порт, — и легла. Спать. Завтра было воскресенье, и в воскресенье она впервые за четыре дня не была ничьей: ни экспертом, ни внучкой, ни чистильщиком. В воскресенье была клиника, перевязка в шесть и папка с шестью жизнями, которые ей предстояло прочесть до дыр.

Перед сном она ещё раз посмотрела на платье. Оно висело на дверце шкафа, тёмное, с чёрным фениксом, и в ночном свете выглядело не как одежда, а как знамя. Рядом, на спинке стула, висел её чёрно-алый пиджак с вышивкой — будний, рабочий, отцовский-отделный. Два шелка. Два флага. Между ними — она сама, двадцать лет, одна на весь город, и у неё снова, в который раз, было три работы, а рук всё те же две.

Она уснула раньше, чем успела об этом подумать до конца.

Воскресенье началось поздно — по домашним меркам, в девять, — и началось с того, что отец за завтраком пересказывал вчерашнее в третий раз, и в третий раз Ваньжу слушала его так, будто слышала впервые.

— …а чайник он, представляешь, поднялся и взял сам. Сам! — Чжэньхэ потряс вилкой с пельменем. — Я же тебе говорил, Ваньжу: хорошая вещь. Продавец не врал. Зольный обжиг, каждый один.

— Каждый один, — согласилась Ваньжу. — Доедай.

— А люди-то, Цзинлэй, люди какие были! — Отец повернулся к дочери, и глаза у него снова загорелись, как на причале. — Вот сижу я рядом с этим доктором, Ляо, и думаю: интересно. Сидит тихо, слушает, улыбается. А потом раз — и говорит про работу такое, что я сижу с открытым ртом. Он же детей вскрывает, дочь. По долгу. И говорит об этом — спокойно. Ты с такими людьми работаешь, и я теперь понимаю, почему ты за столом никогда не кривишься, когда я про работу рассказываю.

— Ты вчера хорошо смотрелся, пап, — сказала Цзинлэй. — Старшие к тебе подходили. Я видела.

— Подходили, — согласился Чжэньхэ и вдруг посерьёзнел — ровно на столько, на сколько он умел серьёзнеть за завтраком. — Проверяли меня, я понял. Старик со шрамом. Про кошку и псовую свадьбу. — Он усмехнулся в чашку. — Я двадцать два года женат на дочери Линь Чуншаня, дочь. Меня проверяют каждый раз, как я выхожу с твоей матерью куда-нибудь,

где есть её люди. Я привык. Пусть проверяют — мне скрывать нечего, это моё главное преимущество. — Он снова повеселел. — А Чжао этот! Громкий, как три лесоруба. Пиджак — я такой цвет только на салфетках видел. И вазу прислал с драконом, здоровую, как торпеда. Я думал, твой дед её в окно выкинет. Ан нет — поставил. Уважает, значит, старик, людей с деньгами?

— Уважает людей, которые умеют стоять на своём месте, — сказала Ваньжу ровно, разливая чай. — Чжао Миндао вчера стоял ровно. За это и поставил.

— А жена у него грустная, — сказал Чжэньхэ вдруг, тише, и это прозвучало неожиданно — не празднично, а по-следовательски, тем голосом, которым он говорил «там работают ночами». — Заметила, Цзинлэй? Красиво одета, улыбается вовремя, всё верно делает. А глаза — как у наших свидетелей. У тех, кто что-то знает и молчит, потому что рядом сидит тот, на кого они знают. Я за столом три раза её поймал: она смотрит на мужа не как на мужа, а как на вопрос. — Он пожал плечами и потянулся за пельменем. — Впрочем, я женат двадцать два года, кто я такой, чтобы судить чужие браки. Может, у них так любовь выглядит.

Цзинлэй опустила глаза в свою чашку.

Вот что было в её отце самое страшное — страшное для всех, кто жил рядом с ним двойной жизнью: он видел всё. Не умел объяснить, не умел сложить в схему, звал это «чувствую спиной», — но видел. Глаза жены Чжао за третьим столом он прочёл точнее, чем иные эксперты читают протоколы, — и тут же отпустил прочитанное, потому что у него не было блокнота для чужих браков. Честность его не защищала. Честность его вела, как поводырь, — и она вела его аккурат туда, где ходить было нельзя никому из них троих.

— Может, и так, — сказала она. — Доедайте оба. Мне в клинику к одиннадцати, а вам обоим — гулять. Мам, ты обещала себе выходной. Вот он.

— Записала, — сказала Ваньжу. — Чжэньхэ, слышал? Мне велено гулять.

— Слышал, — сказал отец. — Пойдём на набережную, как в девяностых. Мороженое тебе куплю. Одно. Ты ж не ешь сладкое, Ваньжу, ты мне так и не сказала почему.

— А ты двадцать два года не догадался? — Мать поднялась убирать чашки, и спина у неё была прямая и молодая. — Потому что ты за обеих ешь, Чжэньхэ. Вот и вся разгадка. Иди одевайся. Гулять так гулять.

Воскресенье пахло клеем и антисептиком — Сяо Мэй с утра переклеивала ценник на доске, потому что «булочная» требовала порядка во всём, даже в мелочах: легенда, говаривала Цзинлэй, держится не на вранье, а на порядке вокруг вранья.

Папку принёс Сун лично — в одиннадцатом часу, в сером, без машины у ворот, пришёл пешком через два переулка, как приходят к зубному. Он не поздоровался. Он положил на смотровой стол картонную папку без опознавательных знаков, сказал «до вечера» и ушёл, и Цзинлэй поняла: «до вечера» — это не про папку. Это про неё. Вечером Сун хотел услышать, куда она смотрит.

Она закрыла клинику изнутри, поставила Сяо Мэй на приёмную — «никого, кроме экстренных», — и открыла папку в кабинете, при белом свете, при котором шила. Шить сегодня было некого. Сегодня было читать.

Шесть листов. Шесть жизней. Сун не писал досье — Сун вырезал из жизни ребра и подавал их без мяса.

Первый лист. Чэнь Юйлин, жена, пятьдесят один год. Родом из Нинбо, семья торговая, за Чжао тридцать лет. Ведёт дом, ведёт приёмы, ведёт — Цзинлэй подчеркнула это слово дважды — благотворительный фонд, через который проходят тихие деньги дома, все легальные, все отмытые до блеска. Своя машина, свой водитель, свой счёт — в Шанхае, не в Макао. Ни одной поездки за четыре года дальше Сучжоу. Ни одного лишнего человека вокруг себя. Сун дописал внизу, от руки: «При встрече производит впечатление человека, который знает ответы раньше

вопросов». Цзинлэй вспомнила нефритово-зелёное платье и «берегите руки, деточка» — и подписала под строкой Суна: «Проверено. Верно».

Второй лист. Чжао Кунь, племянник, тридцать один. Сын младшего брата Чжао Миндао; брат погиб лет пятнадцать назад — «несчастный случай на воде», и Цзинлэй отложила эту строку в сторону: вода в этой истории уже утопила троих за сезон, а тут всплыла четвёртая, пятнадцатилетней давности. Кунь вёл маршруты дома с двадцати четырёх: расписания, машины, люди, сроки. Умен, аккуратен, не жаден по бумагам — и это было самое подозрительное: люди, ведущие чужие маршруты семь лет и не тронувшие ни юаня, либо святые, либо уже кормятся в другом месте. Холост. Живёт один. Играет. Не по-крупному — но играет постоянно, и Сун пометил: «долгов нет, а должен быть хоть один». У игрока без долгов есть спонсор.

Третий и четвёртый листы — счетовода. Хэ Вэньчжан, шестьдесят три, со старта дома, «ещё с ножевых времён», как Хань Цзюнь, — и Цзинлэй отметила: Хань Цзюнь тоже был счетоводом, и тоже старым, и тоже «уехал лечиться», а на самом деле привёз в своём животе книги к двери её клиники. Хэ Вэньчжан вёл главную книгу двадцать лет; жил скромно, в старом доме, с женой и кошкой; каждый четверг играл в маджонг с одними и теми же тремя стариками — расписание, за которое его можно было бы продать, не выходя из комнаты. И Мэн Цзя, двадцать девять, молодой счетовод, взятый четыре года назад «на цифру»: таблицы, сводки, электронные книги. Жил быстро, менял машины, снимал квартиру с видом на реку, — и при этом числился на зарплате, по которой вид на реку не снимают. Сун подчёркнул квартиру. Цзинлэй подчеркнула её второй раз.

Пятый лист. Тан Дахай, капитан барж, пятьдесят восемь. Речная костяшка, тридцать пять лет на воде; у него была команда из одиннадцати человек, которых он знал по именам их матерей, и была привычка: перед каждым выходом он обходил баржу по левому борту, всегда по левому, и стучал костяшками по бортовым пломбам. Человек с такими привычками либо чист, как стекло, либо давно сделал из привычки ширму. Пил только на берегу. Женат вторым браком, двое детей от первого, дочь учится в Мельбурне — вот на эту строчку Цзинлэй смотрела дольше всего: Мельбурн стоит денег, и не тех, что платят капитанам барж.

Шестой лист. Цзян Шоу, начальник охраны дома Чжао, сорок шесть. Бывший военный, потом десять лет в охранных структурах, потом Чжао. Молчаливый, коротко стриженный, без единой фотографии, где он улыбается, — Суну досталось всего три фотографии, и на всех трёх Цзян Шоу смотрел куда-то мимо камеры, как смотрят люди, которые всю жизнь проверяют выходы. Отвечал за людей при грузе, за пирс, за машины. Одиннадцать чужих ящиков прошли через его цепочку — мимо него или через него. Он был единственным из шести, кто физически стоял между ящиком и баржой каждую ночь.

Цзинлэй откинулась на стуле. Белый свет гудел. Она перевернула все шесть листов обратно и прочла их ещё раз, в другом порядке — от шестого к первому, потому что читать надо дважды и с двух концов: в одну сторону видны факты, в другую — выводы, которые тебе подсунули.

Выводы, которые ей подсунули, лежали аккуратно: жена с фондом, племянник с игрой, молодой счетовод с квартирой, капитан с Мельбурном, начальник охраны с пирсом. У каждого был мотив, у каждого — окно. Слишком аккуратно. Так бывает, когда папку собирали честно, — все шестеро выглядят виновными, потому что все шестеро живут с запасом, — и именно поэтому искать надо не мотив. Мотив есть у всех. Искать надо то, чего нельзя подделать: кто из шести в нужные ночи был в нужной точке и при этом не попал ни в одну чужую память.

Одиннадцать ночей. Одиннадцать ящиков. Три трупа.

Она достала свой блокнот — бумага никуда не шлёт отчётов — и выписала сетку: шесть имён вниз, одиннадцать ночей вбок. Сун снабдил листы датами и местами, где умел; пустых клеток было много, и это было хорошо: пустые клетки — это работа. Заполненные — это чужая работа.

К вечеру сетка дала первое. Не имя — никогда имя в первый день, — а направление: начальник охраны Цзян Шоу в девяти из одиннадцати ночей стоял на пирсе лично. Это было подозрительно ровно — слишком ровно для него и слишком удобно против него. Либо он грузил сам, либо кто-то очень хотел, чтобы каждая ночь ящиков была ночью Цзяна Шоу. Девять из одиннадцати — это не график. Это подпись. Оставляют такую подпись либо сами виновные — глупо, — либо те, кто готовит себе козла заранее. Цзинлэй записала: «Цзян Шоу — либо рука, либо рамка. Проверить второе раньше первого: рамки опаснее».

Второе дала квартира Мэн Цзя. Вид на реку, новая машина, зарплата, по которой ни то ни другое не сходится. Но молодой счетовод вёл электронные книги — а электронные книги, в отличие от бумажных, помнят, кто их открывал. Если в чужих ящиках есть цифровой след, искать его надо через Мэн Цзя, — и, значит, если он рука, он это знает, и след заметён так, что найти его сможет только другой счетовод. Цзинлэй обвела имя Мэн Цзя и подписала: «нужен свой человек в его цифре. Сун».

Третье — из листа Чжао Куня. «Несчастный случай на воде», пятнадцать лет назад, отец Куня. Цзинлэй не знала, что с этим делать, — нить была старая, и вела она не в ящики, а в сам дом Чжао, в его фундамент. Она выписала дату и обвела её вопросительным знаком: вода утопила уже четверых в этой истории, если считать дядю Куня. Вода любит счёт.

Она закрыла папку ровно в пять. Убрала листы обратно в том же порядке — Сун проверит порядок, Сун всегда проверял порядок, — и написала на листе-ответе, для вечернего разговора, три строки:

«Рамка — Цзян Шоу, проверять как рамку. Цифра — Мэн Цзя, нужен вход в его железо. Деньги — Мельбурн: чья дочь, на чьи деньги. Списывания с фонда жены — тихо, без запросов, по больницам. Племянника не трогаем: игрок без долгов — чужая собака, узнаем, кто кормит. „Цаплю“ в среду кормим правдой: Чжао знает про ящики и молчит, ждёт. Смотрим, кому „Цапля“ понесёт эту правду».

Потом она постирала руки — по привычке, хотя не резала сегодня ничего, — и пошла в приёмную, где Сяо Мэй уже переодевалась и Лихэ докладывал ей что-то, размахивая руками так, что шнурки снова угрожали катастрофой.

Грузчик пришёл в шесть — в сопровождении того же старшего, что привозил его, и с автобусным журналом в здоровой руке: он смущался клиники, как храма, и держал перед собой первую попавшуюся бумагу, как пропуск. Субботнюю перевязку Сяо Мэй провела сама — первую в своей жизни сольную, — и доложила о ней утром так тщательно, что Цзинлэй дважды похвалила: рука розовая, швы сухие, мизинец слушается через раз, пациент веселеет и уже торгуется, когда ему можно «хотя бы гвоздь подержать».

Цзинлэй сняла повязку. Рука шла ровно — она проверила швы, сухожилие, движение пальцев: мизинец слушался плохо, и это было ожидаемо, и она сказала об этом прямо:

— Мизинец будет отставать. Два, может быть, три месяца. Делай упражнения — вот такие, по десять раз, утром и вечером. Через полгода рука сможет держать. Трос — нет. Инструмент — да.

— Доктор, — сказал грузчик, и голос у него был тихий, осторожный, как у людей, которые принесли новость и не знают, как её подать. — А можно, я… Мы тут с ребятами посоветовались. Вы нам руку спасли, а мы… — он поглядел на старшего, и старший кивнул ему, мол, говори. — Мы ж на шестом всю жизнь. Вы спрашивали тогда, кто за трос. Мы подумали: вы не просто так спрашивали. Вы ж тихая клиника, мы понимаем. Тихая клиника — это когда вам можно, а нам нельзя болтать. — Он перевёл дух. — Так вот, доктор. Складной идёт. Не у нас, на шестом, — у нас как стояло, так и стоит. А вот на восьмом, говорят, с завтрашнего дня всё. Тишина. Администрация нашего Би предупредила, чтоб вахтёр не удивлялся, если что. Ночных больше не будет, говорят. Совсем. На месяц, а может, и навсегда.

Цзинлэй меняла повязку ровно, и руки её не дрогнули, и внутри у неё всё встало на место так быстро, как встаёт игла в вену: Чжао выполнял договор раньше срока. Люди уходили с восьмого уже в ночь на понедельник — и уже в воскресенье днём об этом знали грузчики шестого. Слух бежал по причалам быстрее, чем бумага по администрации, — и это значило две вещи. Первое: месяц тишины начался, и отец её в среду встанет с наблюдением на пустой берег. Второе: тишина эта будет заметна. Не грузчикам — тем можно, — а отцу. Отец умный. Отец встанет в среду на берег, простоит три ночи, увидит пустое место и спросит себя ровно то, что спросил бы она сама: почему причал умер аккурат к моему приходу. Кто слил.

Вот эту задачу ей ещё предстояло решить. Не сегодня — сегодня было воскресенье, — но до среды.

— Вы правильно сделали, что сказали, — сказала она грузчику, закрепляя повязку. — Мне это важно. Вам это ни к чему: вы работаете на шестом, восьмой вас не касается. Слух пусть живёт своей жизнью — ты его мне уже принёс, дальше он мой. — Она выпрямилась. — Приходи в среду. Посмотрю сама. Деньги — когда встанешь, я сказала. А сейчас скажи старшему, что я сказала: молодец.

Грузчик просиял — просто, по-детски, как светятся люди, которых похвалил человек в белом халате, — и они ушли, и Цзинлэй слышала, как за дверью старший говорит ему: «Я же тебе говорил — тихая клиника», — и как тот, счастливый, отвечает что-то про мизинец.

Она стояла у раковины и смотрела, как вода уносит с рук пахнущую лекарством пену, и думала о среде. В среду Сун пил чай с «Цаплей». В среду её отец вставал на берег с термосом и биноклем. В среду грузчик приходил на перевязку. Среда собиралась многолюдная — а она любила, когда всё важное случается в один день: в такие дни все нити натягиваются сразу, и по дрожи нитей можно читать, кто за какую держится.

Сун вернулся в восьмом часу — снова пешком, снова в сером, и принёс с собой вторую папку, тонкую, почти невесомую.

Он прочёл её лист-ответ молча, стоя, у смотрового стола, — прочёл дважды, как она и ожидала: Сун читал всё дважды. Потом кивнул — и этого кивка у него хватило на всю похвалу.

— Рамка, — сказал он. — Согласен. Девять из одиннадцати ночей — это не график, это почерк. Я скажу вам больше, эксперт Линь: я проверил по своим людям. В две ночи из одиннадцати Цзян Шоу вообще не выходил из дома — болел, есть врач. Обе эти ночи ящики не шли. — Он положил лист на стол. — Видите? Кто-то выстраивает: когда Цзян на пирсе — ящики, когда Цзяна нет — тишина. Красиво. Это либо сам Цзян, и тогда он идиот, чего не бывает у военных сорока шести лет, либо кто-то, кто видит его график и шьёт по нему, как по выкройке.

— Кто видит его график? — спросила Цзинлэй.

— Пять человек из шести, — сказал Сун. — Кроме него самого. График охраны знают все: жена подписывает, племянник ставит, счетовода оплачивают, капитан согласует выходы. Вот вам и весь список. — Он развёл руками. — Круг замкнулся, как и положено в хорошем деле. Дальше нужна вода, а не бумага. Вода — это ваша часть.

— Мельбурн, — сказала Цзинлэй.

— Мельбурн считаем. Дочь капитана учится четвёртый год, платит какие-то «дяди» — по бумагам стипендия, по воздуху пахнет деньгами. Будет неделя — будут счета. И по фонду жены — тихо, как вы написали, по больницам: фонд жертвует детским отделениям, и это святое, трогать можно только глазами. — Он помолчал, и в паузе у него всегда звучало самое важное. — Теперь второе. Вы просили до среды. Принёс сегодня — не всё, но кость.

Он открыл тонкую папку. Один лист, одна жизнь — Сун и тут подавал ребра без мяса.

— Дэн Ган. Сорок один год. Родился в Цзянсу, школа там же, юрфак в Нанькине, в органы в двадцать два. Карьера ровная, без рывков: оперативник, старший, переводы по районам. Ни

одного взыскания — это редкость. Ни одной благодарности выше районной — это ещё реже. Два с половиной года назад — вот это место читайте медленно — работал в другом районе, в том самом, что сидит на причалах со стороны города. Был у него напарник, Юй Сяодун, двадцать девять лет, свадьба через месяц. Вели задержание по наводке: контрабанда, ночной груз, пирс. Наводка оказалась ловушкой. Стрельба, темнота, вода. Напарника нашли на третьи сутки, за пирсами. Официально: при исполнении. Неофициально… — Сун посмотрел на неё. — Неофициально, госпожа, наводка пришла сверху, чистая, как слеза, и никто не знает, откуда. Через неделю после похорон дело закрыли «за недоказанностью». Дэн Ган написал рапорт о переводе — сам, добровольно, на район без воды. Перевели. С тех пор он ведёт личные ведомости по всему, что пахнет портом. Каждую нитку переписывает в свой блокнот. Каждого человека проверяет дважды. Деньги его чисты — я проверил трижды, у человека нет даже долга по карте. Мать в доме престарелых в Сучжоу, он оплачивает и ездит к ней раз в месяц, по воскресеньям, поездом в 6:40.

Цзинлэй стояла с папкой в руках, и лист с жизнью Дэна Гана весил больше, чем все шесть предыдущих вместе.

Вот оно. Вот почему он переписывает нити с доски в коричневый кожзам. Вот почему спрашивает про район клиники и про «двое суток». Вот почему смотрит на неё, как счетовод на новую строку: он ищет человека, с которого всё началось, — тот самый чистый звоночек, ту самую наводку «сверху», — и ищет уже два с половиной года, один, вне протоколов, потому что протоколы однажды уже схоронили его напарника. Дэн был не опасностью для клана. Дэн был опасностью для руки — и, значит, рано или поздно рука это увидит, если ещё не увидела. А для неё, Цзинлэй, Дэн был тем, чем был: человеком, который идёт к правде с другого берега и однажды дойдёт до середины моста — в тот самый момент, когда по нему будут нести ящик.

— Он хороший полицейский, — сказала она наконец.

— Один из немногих, — согласился Сун. — Хуже того: он хороший полицейский с личным счётом. Такие не останавливаются. Таких останавливают.

— Не трогать, — сказала Цзинлэй.

Сун поднял глаза. Сун редко поднимал глаза, когда ему говорили «не трогать».

— Это не ваша зона, эксперт Линь. Милиция — это госпожа Ваньжу и старый господин.

— Пока он ходит рядом с моим отцом и спрашивает про мою клинику — это моя зона, — сказала она ровно. — Не трогать, Сун. Слушать. Он в среду встаёт с отцом на берег — три ночи, вдвоём с молодым. Я хочу знать всё, что он там увидит и запишет, раньше, чем он сам решит, что это значит. — Она убрала лист в папку и вернула её Суну. — А дальше посмотрим. Если он копает правильно — он может оказаться полезен, как капитан Ло: честные люди — лучшие зеркала. Если подойдёт слишком близко… — Она не договорила. В клинике, в белом свете, в запахе антисептика, договаривать было не нужно; Сун работал с ней два года и понимал, чем заканчиваются фразы, которые она не договаривает. — Тогда я решу сама. И скажу сама. Не раньше и не через третьих.

— Понял, — сказал Сун. Он забрал папку, и в его «понял» прозвучало ровно то, что должно было прозвучать: приказ принят, линия определена, линию определяет она. — До среды я добью цифру Мэн Цзя и Мельбурн. В среду я пью чай. «Цапля» получит свою правду: Чжао знает про ящики и молчит. Интересно, куда он её понесёт. Люди всегда несут новости тому, кого боятся больше всего.

— Все люди, — сказала Цзинлэй. — Без исключений. Принеси ему красивую чашку, Сун. Через посуду новости текут быстрее.

Сун ушёл — не прощаясь, как всегда, — и она слышала, как его шаги растворились в переулке, тихие, выверенные, шаги человека, который никогда никуда не спешит, потому что всегда приходит вовремя.

Юй Мэй она позвонила из машины, по дороге домой, — с личного номера, второго, того, который не значился ни в одной картотеке, кроме её собственной.

— Это Линь, эксперт, — сказала она, когда трубку взяли. — Мы с отцом были у вас в пятницу. Я о розовом ноутбуке.

Трубка молчала секунду, две — слышно было, как на том конце кто-то быстро сел, как зашуршало, как человек собрал себя в кучу.

— Я слушаю, — сказала Юй Мэй, и голос у неё был голосом человека, который боится каждого звонка и ждёт каждого.

— С ним всё хорошо, — сказала Цзинлэй. — Я смотрела его сама, аккуратно. В начале недели он вернётся в отдел, и я попрошу отца, чтобы его отдали вам быстрее, чем ползёт бумага. Это я могу. — Она помолчала, ровно на вдох. — Там очень хорошие фотографии. С вышки. Она умела видеть, ваша сестра.

Трубка снова молчала — и теперь в этом молчании не было страха, а было что-то другое, тёплое и разбитое.

— Она с детства так, — сказала Юй Мэй глухо. — Всё фотографировала. Говорила: мам, я вам потом мир покажу, вы только подождите, я встану крепко. — Она всхлипнула — один раз, коротко, и тут же взяла себя в руки, как берут себя люди, привыкшие, что плакать им некогда. — Простите. Спасибо вам. Вы… вы единственная, кто позвонил. За все эти недели — единственная. Остальные только спрашивали.

— Спрашивать — их работа, — сказала Цзинлэй. — А звонить — моя. — Она смотрела в окно машины на проплывающие огни. — Юй Мэй. Если вы что-то вспомните. Что угодно: фразу, имя, мелочь, которую она сказала между делом, за столом, не придав значения. Не звоните в отдел. Звоните мне. В любое время, ночью тоже. Мелочи — это гвозди, на которых висит всё остальное.

— Мелочи, — повторила Юй Мэй, и по тому, как она это повторила, Цзинлэй поняла: запомнила. Навсегда. — Хорошо. Вам. Только вам, эксперт Линь. Я запомнила.

Она повесила трубку и ещё долго смотрела в окно. Гвоздь был вбит — ровно, по самую шляпку, без единого лишнего удара. Когда Юй Мэй вспомнит — а она вспомнит, такие всегда вспоминают, в самый неподходящий для себя час, — она позвонит ей. Не «профсоюзу» с тросовыми руками. Не Дэну с его блокнотом. Ей.

Домой она приехала к ужину — воскресному, позднему, застольному: мать готовила «на сдачу» два дня в неделю, и вторым из этих дней всегда было воскресенье. Отец рассказывал за столом про среду — глаза у него горели, и жесты были широкие, и план звучал у него уже готовый:

— С берега, с насыпи, напротив восьмого. Триста метров — бинокль возьмёт. Вэй дал двух человек: Дэна и молодого, с вечера и до четырёх. Без техники — я ж тебе говорил, Вэй жмёт бюджет. Ну и не надо техники. Глаза лучше техники, техника спит, а глаза… — он не закончил, потому что Ваньжу поставила перед ним тарелку, и он закончил иначе: — А что? Три ночи. Если там идёт работа, я её увижу. А потом — заявка, ордер, и гуляй, причал.

«Дэна и молодого».

Цзинлэй резала мясо и не подняла глаз. Дэн. Отец выбил себе наблюдение — и Вэй дал ему Дэна. Конечно, Вэй дал Дэна: Вэй должен клану много и давно, но Вэй не дурак, и Дэна к отцу приставили не врагать, а видеть. Дэн с коричневым блокнотом простоит три ночи рядом с её отцом на пустом берегу. И если берег будет пуст — Дэн запишет и это. В свой блокнот. Отдельно от протоколов.

— Пап, — сказала она. — А если пусто будет?

— Будет пусто — закроем, — сказал Чжэньхэ просто, и в этой простоте было столько честности, что у неё перехватило горло. — Я Вэю так и сказал: дай три ночи. Найду — работаем

дальше. Не найду — отдаю дело наверх, пусть область думает. Не жадничаю. Дело не моё, дело общее. — Он отпил чая. — Но найду. Я чувствую. Там, на причале, я прям спиной чувствовал — работают ночами. Свежие кнехты, дочь. Кнехты не врут.

Кнехты не врали. Она сама прочла их в пятницу — ржавчина, содранная в полосках. Врала не железка. Врала вода, в которую отныне — со среды, на месяц — не встанет ни одна баржа.

Она смотрела на отца — на его горящие глаза, на его план, на его честную, ничем не подкопанную надежду, — и думала о том, что впервые за четыре дня её две работы не просто стоят рядом, а пошли друг на друга берегом. Клан купил причалу тишину. Отец поедет слушать эту тишину. И она — она, чистильщик, эксперт Линь, внучка справа от деда, — должна будет стоять между ними и сделать так, чтобы тишина прозвучала правдоподобно: не как купленная, а как естественная. Чтобы отец простоял три ночи, увидел пустое место и решил — сам, без чьей-либо подсказки, — что ошибся местом, а не временем. Чтобы Дэн в своём коричневом блокноте написал про пустой берег и про следователя, который честно не нашёл. Чтобы Вэй закрыл дело и отдал его наверх, в область, где оно будет лежать, пока не истлеет.

И чтобы никто — никто в этом городе — не подумал, что тишина встала на восьмом причале за три дня до наблюдения не случайно.

«Всегда на полшага», — сказала она себе в пятницу.

Теперь у неё было четыре дня, и она уже знала, куда поставит первый.

За окном темнело. Восьмой причал готовился уснуть. Где-то в городе шесть человек ужинали в шести разных домах, и один из них был рукой, и ни один из шести ещё не знал, что на него уже открыта картотека, — бумажная, потому что бумага никуда не шлёт отчётов. Цзинлэй допила кофе, улыбнулась отцовской истории про Вэя и бюджет — вовремя, как улыбаются дочери, — и попросила добавки.

Неделя начиналась хорошо.

После ужина она поднялась к себе, закрыла дверь и достала блокнот — не тот, рабочий, из клиники, а домашний, в жёлтой обложке, который лежал у неё в столе с шестнадцати лет и который видел все её расписания: учёбу у Ляо, первые ночные вызовы, первый год клиники. Она открыла чистый разворот и написала сверху одно слово: «Календарь».

Понедельник. Отдел, отчёты, Цяо; ноутбук Юй Фань — через отца, быстро, тепло. Вечером — клиника. Вторник. Отдел; Сун приносит Мельбурн и цифру Мэн Цзя. Среда. Среду она расписывать не стала — среда расписалась сама: чай на Юньнаньской в полдень, берег с биноклем к ночи, перевязка в шесть. Четверг. Четверг она обвела дважды и подписала под ним две строки: «чай у деда» — и ниже, мельче: «маджонг у Хэ Вэньчжана, каждый четверг, одни и те же три старика». Совпадение было красивым, как бывают красивы только случайности, которые потом оказываются подарком: старый счетовод играет в маджонг по четвергам, а она теперь пьёт чай у деда по четвергам. Один день недели, два стола, два старика с историями длиной в жизнь. Старики любят поговорить. Старики вообще только и ждут, что кто-нибудь молодой, с хорошими руками и без скуки в глазах, сядет рядом и спросит: а как было раньше? Она умела спрашивать, как было раньше. Её этому учил порт — нет, её этому учил отец, лапшичной и тремя правилами: слушай, молчи, не ври.

Пятница осталась пустой. Пятница — день, когда случается то, чего не планируешь: пятница уже принесла ей в этой жизни розовый ноутбук и три адреса. Она подчеркнула пустую клетку и написала в ней: «пятница сама придёт».

Потом она перевернула страницу и выписала шесть имён ещё раз — теперь не сеткой, а очередью. Не в порядке подозрения: в порядке встреч. Первым шёл Цзян Шоу — не потому, что он рука, а потому, что через рамку быстрее всего увидеть, кто её вставлял. Вторым — Мэн Цзя: цифра отвечает быстрее людей и не умеет врать в лицо. Третьим — Тан Дахай: Мельбурн

— это адрес, а адрес — это банк, а банк — это имя. Четвёртой — Чэнь Юйлин: фонд, больницы, «берегите руки». Пятым — Чжао Кунь: игрока не трогают, игрока кормят и смотрят, кто подходит к кормушке. Шестым — Хэ Вэньчжан. Старый счетовод стоял у неё в конце очереди по той же причине, по какой в очереди на допрос всегда последним идёт самый интересный: чтобы он успел понервничать, глядя, как вызывают всех, кроме него.

Она закрыла блокнот, убрала его в ящик — в домашний ящик, под ключ, ключ от которого лежал у неё в кошельке с самого шестнадцатилетия, — и подумала, что охота, в сущности, ничем не отличается от операции: сначала разметка, потом разрез, потом главное — не спешить, пока идёт кровь.

Ваньжу провела воскресенье так, как проводила все свои настоящие выходные: гуляла с мужем по набережной, держала его под руку, смеялась над мороженым, которое он купил одно и съел за обоих, — и в четыре часа, у окна их спальни, пока Чжэньхэ внизу смотрел футбол и засыпал над ним, как засыпают счастливые люди, позвонила Суну.

— Доложи про наблюдение, — сказала она. — Не отца. Нашего.

Сун докладывал семь минут. Дэн Ган собирался в среду тщательно: запросил в архиве карты причальной зоны десятилетней давности — «тогда там были другие сараи, госпожа, он хочет видеть, что выросло из чего»; проверил смены портовой полиции на неделю; в пятницу вечером, после работы, час ездил по набережной на своей машине — медленно, с остановками. Выбирал точку. Не для отца — для себя.

— Он будет смотреть не туда, куда скажет Линь Чжэньхэ, — закончил Сун. — Он будет смотреть туда, куда сам решил. И он уже знает, что причал с понедельника встаёт, госпожа. Грузчики болтают, а Дэн слушает грузчиков лучше, чем протоколы. Завтра к вечеру он будет знать, что восьмой уснул.

Ваньжу смотрела в окно, на соседние крыши, и считала ходы — вслух считать было не нужно, Сун считал параллельно и приходил к тем же суммам.

— Пустой причал за два дня до наблюдения. Мой муж умный, Сун. Он не крикнет «утечка» — он начнёт молча проверять, кто знал про наблюдение до среды. А знали пятеро: он сам, Вэй, дочь, Дэн и молодой. — Она помолчала. — Из пятерых проверять он начнёт не с дочери. И не с себя. Останутся трое, и ближе всех к воде — Дэн.

— Дэн станет подозреваемым в утечке, которой не было, — сказал Сун. — Смешно. Человек, который два года ищет чужую руку, получит подозрение, что рука — он сам.

— Это не смешно, Сун. Это опасно. Дэн, почувствовав кольцо, не сядет в него — он рванётся наружу, а наружи у него ведомость, блокнот и два года злости. — Ваньжу отпила остывший чай. — Нам нужно, чтобы тишина на восьмом выглядела естественной. Не купленной. Сезонной. — Она подумала ещё секунду. — Пусть у причала будет причина. Хозяйственная. Мелкая, скучная, документная — такую не проверяют, потому что она скучная. Поговорите с инженером: Гу Байчуань у нас теперь на содержании торга, пусть заработает. Ремонт швартовых. Замена фонарей. Что угодно, что закрывает причал на месяц по бумагам и никому не интересно.

— Будет сделано к понедельнику, — сказал Сун. — Заявка задним числом не пройдёт, но понедельник — это ещё до среды, госпожа. Успеем быть скучными вовремя.

— И ещё, — сказала Ваньжу. — Дэн. Я думала о нём весь день. Он нам не враг, Сун. Он — зеркало, как сказала дочь. Но зеркала иногда бьются о тех, кто в них смотрится. — Она закрыла глаза. — Следите за ним все три ночи. Если он увидит то, чего увидеть не должен, — а он может, он хорош, — вы не решаете. Вы звоните мне, и молча, и сразу. Решение по нему — не ваше и не моё. Оно её. Она сказала: линию определяю я. Пусть так и будет. Это её город и её правила, Сун. Мы с тобой теперь просто старики, которые носят ей бумаги.

Она положила трубку и ещё долго стояла у окна, слушая, как внизу бормочет телевизор и дышит спящий над футболом её муж, — двадцать два года брака, и она всё ещё не решила, что в нём сильнее: то, что он не видит, или то, что он видит, не понимая. Она любила оба его зрения одинаково. И берегла оба — одно от другого, двадцать два года подряд, каждый день, как сегодня.

Ночью она делала то, что делала всегда, когда неделя собиралась быть длинной, — ухаживала за клинком.

Катана легла на тёмный шёлк, как ложилась всегда: лезвием к окну, рукоятью к двери. Цзинлэй села перед ней на ковёр, по-домашнему, в футболке, с распущенными волосами, и разложила свой маленький набор: бумагу, тряпицу, тюбик с маслом. Этому тоже учил Ляо — нет, не Ляо: дед. Восемнадцать лет, день рождения, длинный футляр и короткий урок: «Клинок, за которым ухаживают, не подводит. Оружие — это как люди, внучка: сначала уход, потом верность».

Она вытянула клинок из ножен — тихо, на ладонь, — и старое железо легло ей в руку, как ложится вода в чашку. Довоенная работа, тонкая, с узором закалки, похожим на речную волну в местном, шанхайском, стиле: мастер, который ковал её, видимо, жил у воды и любил её. Восемьдесят лет назад. Люди, которые куют, умирают; железо остаётся и переходит из рук в руки, и у каждого клинка бывает больше хозяев, чем у дома, — и каждый хозяин думает, что он последний.

Она вела бумагой по лезвию — от пятки к острию, всегда в одну сторону, как шила: шов не водят туда-сюда, шов ведут. Масло — тончайшим слоем. Тряпица — сухая. Движения были такими привычными, что руки работали сами, а голова работала своё: шесть листов, шесть жизней, одиннадцать ночей, три трупа, один месяц.

Чэнь Юйлин, жена. Руки, которые она велела беречь. Фонд, по которому плачут детские отделения. Чжао Кунь, племянник, игрок без долгов — чужая собака, и у неё есть хозяин. Хэ Вэньчжан, старый счетовод: маджонг по четвергам, жена, кошка, двадцать лет главной книги — такие люди либо чисты, как стекло, либо давно написаны в столбик и сданы в архив. Мэн Цзя, молодой, с квартирой над рекой и зарплатой, по которой реку не видать: цифра помнит всё, и цифру он заметал сам или для него. Тан Дахай, капитан: левый борт, костяшки по пломбам, дочь в Мельбурне — за чьи деньги, дядя? Цзян Шоу, охрана: девять ночей из одиннадцати, подпись или рамка.

Шесть человек. Одиннадцать ящиков. Три человека в воде — грузчик, девочка с вышки, перевозчик, — и четвёртый, пятнадцатилетней давности, отец Куня, «несчастный случай на воде». И, может быть, пятый: напарник Дэна, найденный за пирсами на третьи сутки, два с половиной года назад, — по наводке, которая была чиста, как слеза, и никому не известна.

Вода любит счёт. Она записала это в пятницу, глядя на кнехты, — а теперь счёт подрос, и выглядел он всё меньше как война домов и всё больше как привычка. Кто-то в этом городе давно решил, что люди — это расходный материал к ящикам, и подписывается под этим решением раз в сезон, аккуратно, по трупу на партию. Так думают не кланы. Кланы считают людей — люди это актив. Так думает торговец. Чистый торговец, для которого и Хэйфан, и Чжао — просто два причала у одной реки.

Она закончила с маслом, подняла клинок на уровень глаз и посмотрела вдоль лезвия — волна закалки пошла мелкой рябью, и в этой ряби на секунду встали все лица недели: отец с чайником в обеих руках; мать у окна — «учись ждать»; дед у ширмы — «приходи по четвергам»; Юй Фань со своего заставки-экрана, смеющаяся на ветру; грузчик, сияющий от слова «молодец»; и шесть лиц из папки, которых она пока не видела вживую, — кроме одного, нефритово-зелёного, с усталым красивым лицом.

Берегите руки, деточка.

Она вложила клинок в ножны — до щелчка, тихого, как поцелуй, — и убрала его в ящик, на тёмный шёлк. В отдел она ходила без него. На праздники — без него. Он ждал своих ночей, а ночи у неё впереди были: месяц — это тридцать ночей, и хотя бы одна из них будет той самой.

Завтра — понедельник. Восьмой причал уснёт окончательно, и отец пойдёт к Вэю докладывать план, и Дэн возьмёт свой коричневый блокнот, и Цзя Лэ будет ждать её с тремя блокнотами у лестницы. Послезавтра — то же самое. А в среду — чай на Юньнаньской, берег с биноклем, перевязка в шесть. Среда собиралась многолюдная.

Она погасила свет и легла. Платье висело на дверце шкафа, тёмное знамя с чёрным фениксом, и клинок лежал в ящике на шёлке, и где-то за рекой спал восьмой причал, а в шести домах города не спали или спали шесть человек, и один из них уже начал проигрывать — просто ещё не знал этого.

За окном, далеко за рекой, мёртвым журавлём против неба стоял восьмой причал, и впервые за много недель рядом с ним не было ни одной баржи, ни одного ящика, ни одного человека с фонариком — только вода, ветер и медленно тускнеющие отсветы города. Тишина начиналась. Тишина стоила двадцать лет чужих книг и один месяц её собственной жизни, и Цзинлэй уже знала: эта сделка окупится.

Она закрыла глаза и уснула — ровно, глубоко, без сновидений, как спят люди, у которых завтра много работы и хорошие руки.

Гл

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.